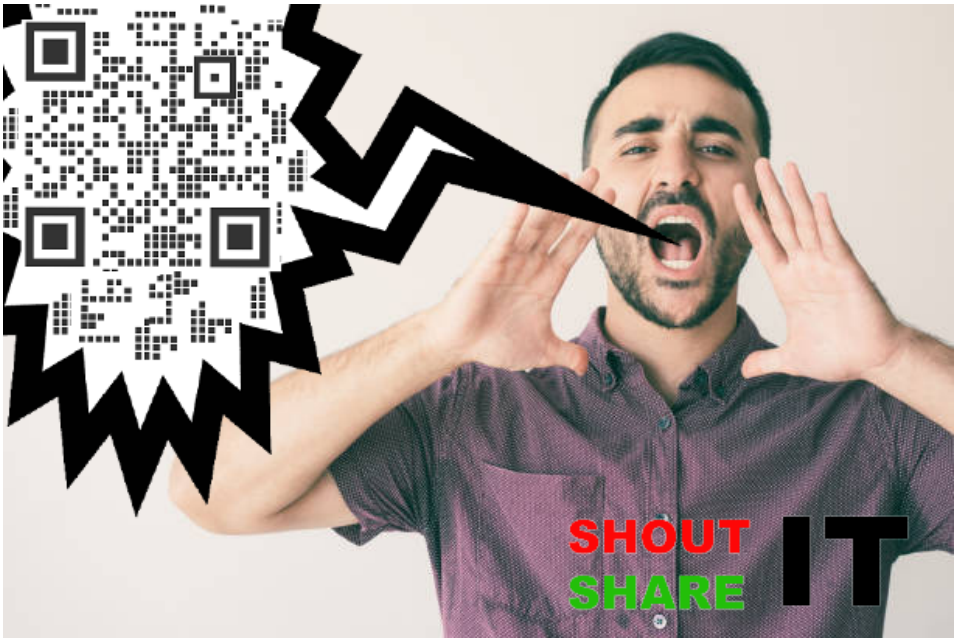
ПИТЕР АКРОЙД

ЧОСЕР

CHAUCER

PETER ACKROYD


SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Питер Акройд, непревзойденный мастер биографии, не случайно заинтересовался жизнью Джеффри Чосера, английского поэта XIV века. По словам Акройда, он «не только родоначальник английской поэзии, но воплощает собой много большее, что и дает возможность… видеть в его фигуре образ Англии, в лице же его – лицо Альбиона».

"Я не стремлюсь явить искусство, смысл – моя задача". Так сформулировал Чосер свое кредо. Однако именно художественное совершенство созданных им шедевров, главный из которых – знаменитые "Кентерберийские рассказы", превратило лондонский диалект, на котором он писал, в образец для подражания и стяжало Чосеру славу создателя английского литературного языка.

- Питер Акройд
  - Пролог
  - Глава первая
  - Глава вторая
  - Глава третья
  - Глава четвертая
  - Глава пятая
  - Глава шестая
  - Глава седьмая
  - Глава восьмая
  - Глава девятая
  - Глава десятая
  - Глава одиннадцатая
  - Глава двенадцатая
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12

- ○ 13
- ○ 14
- ○ 15
- ○ 16
- ○ 17
- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32

Питер Акройд
Чосер. Биография

Пролог

Существует изображение Джеффри Чосера уже в зрелых летах, выступающего перед собранием придворных: он стоит на огороженном возвышении, украшенном ниспадающей с перил узорчатой тканью. Это не кафедра, но рука Чосера поднята в проповедническом жесте, почему и принято считать, что он запечатлен здесь читающим свои стихи, хотя ни книги, ни какого-либо текста в его руках разглядеть невозможно. Эта картинка, украшавшая фронтиспис рукописной копии “Троила и Хризеиды”, была выполнена в начале XV века, но само портретное изображение Чосера, по-видимому, скопировано с более ранних оригиналов; на картинке у Чосера – клинообразная бородка, усы и пышная каштановая шевелюра.

Здесь уместно заметить, что роста поэт был, по тем временам, среднего – примерно пять футов шесть дюймов – и телосложения дородного, если не тучного, как свидетельствовал он сам. Изображен Чосер не в платье, которое приличествовало бы ученому поэту, а скорее в пышном одеянии придворного. Это следует выделить особо как черту, существенную и для анализа его творчества. С четырнадцати лет и до самой смерти он находился на королевской службе. Фигура Чосера являлась привычным и неотъемлемым атрибутом придворной жизни, так как служил он трем королям и двум принцам. Вот почему орнамент по краю фронтисписа представляет собой переплетение листьев и цветов, что отражает бытовавшую тогда при дворе игру: шутливое разделение придворных на поклоняющихся “листу”, то есть чистой, возвышенной любви, “fine amour”, и тех, кто превыше всего ценит наслаждение, “plaisaunce”, и стремится к “цветку”. В ранних произведениях Чосера мы находим отголоски этой игры.

Слушатели поэта также заслуживают внимательного рассмотрения. Среди них четко выделяется облаченный в золото Ричард II. Примечательно, что представление о Чосере было неразрывно связано с этим монархом. Ричард, правивший с 1377 по 1399 год, являлся едва ли не самым интересным и загадочным персонажем среди всех сидевших на английском троне. В эпоху ослабления феодальной власти он исповедовал культ ее величия и всячески насаждал этот культ, окружая себя пышностью и великолепием. Весь антураж, сопутствующий выступлению поэта на картинке, как и его фигура, подчеркнуто театральны и драматически выразительны, ибо чертами драматизма отмечена была и культура того времени. Цветовое решение фронтисписа также приобретает аллегорический смысл, отражая драматизм

исторического момента: желтый, цвет ревности, в противоборстве с синим – цветом верности, противопоставленным зеленому – цвету предательства. Четырнадцатый век получил наименование переходного. Хотя переходность, можно сказать, свойственна и всем прочим временам, отличие в данном случае состоит в том, что Чосера выпестовало столетие, когда перемены буквально витали в воздухе. Отрывочные и неоконченные “Кентерберийские рассказы” уже сами по себе являются свидетельством перемен.

Прочих придворных, собравшихся в укромном уголке парка, также можно распознать с большей или меньшей степенью точности. На картинке узнаваема королева Анна, супруга Ричарда. В толпе его приближенных мы видим и Джона Гонта, первого и самого верного из покровителей Чосера. Надо сказать, что от внимания исследователей в целом ускользнуло то обстоятельство, что кружок поэта составляют главным образом женщины. В них современники видели тогда естественную аудиторию всех выступающих – рассказчиков, стихотворцев и певцов.

В последующие века, как считалось, читательницами романов тоже являлись в основном женщины. Возможно, это способно дать нам ключ к пониманию стилистики ранней и наиболее галантной поэзии Чосера.

Но на картинке мы можем увидеть, что некоторые женщины выступающего вовсе не слушают, на лицах других – за притворным вниманием читаются скука или же замешательство. Попутно это приоткрывает нам и черту творческого воображения, характерную для художников той эпохи, пристальное внимание к мелочам и индивидуальным особенностям изображаемого. Портрет Чосера, как и его искусство способны создать иллюзию объемности той или иной находящейся в пространстве группы, иллюзию жизнеподобия аккуратно переданной детали. Но указанному тяготению к реализму, если простителен будет подобный анахронизм в терминологии, здесь сопутствует нечеткость общего плана. Изображение Чосера, выступающего перед публикой, увенчивает процессия, тянущаяся вдоль стены средневекового замка, и смысл этой сцены не совсем ясен. Есть предположение, что это иллюстрация к “Троилу и Хризеиде”, другие исследователи склоняются к мысли, что процессия состоит из придворных, идущих слушать Чосера, и что возглавляет ее сам поэт.

Джеффри Чосер являлся не только поэтом, но был также и дипломатом и чиновником, курировавшим то королевские стройки, то таможенную службу Лондонского порта. Он побывал

и судьей, и членом парламента.

Будучи лондонцем, он находил первых и непосредственных своих слушателей среди богатых и влиятельных лондонских купцов, но при этом, увлекаясь французской и итальянской оэзиеи, делал отличные переводы с этих языков. Известность ему принесли в основном “Кентерберийские рассказы”, однако произведение это было создано Чосером уже под конец его поэтической карьеры, а перед тем он отдал дань и стихотворным пророческим видениям, и басням, и моралите; им была написана и длинная поэма “Троил и Хризеида”, которая может претендовать на звание первого современного романа. Он был плодовит и совершенен, обладал широтой интересов и изобретательностью. Его называют отцом английской поэзии, но странное то было отцовство. Чосер доказывал свою ученость и приверженность науке, ведя при этом активную жизнь успешного дельца. Являясь тихим и скромным человеком, он был привлекаем к суду за долги и обвинен в изнасиловании. Пользуясь славой сочинителя непристойных пародий и фарсов, он предавался мистическим прозрениям и религиозным размышлениям. Но во всех этих контрастах проступают контуры единого четкого образа, который мы и постараемся уловить.

Глава первая
Лондонец

Чосер вырос и обрел свое место в городе, именовавшемся тогда “нашим главным”. Родился он в семье, которая, по выражению Оскара Уайльда, принадлежала к “цвету лондонского купечества”. Ему не пришлось пробиваться в жизни благодаря собственной энергии и таланту. Его положение в обществе было прочным и заранее обеспеченным.

Предки его со стороны отца прибыли в Лондон из Ипсвича с постоянным притоком в столицу жителей Мидленда и Восточной Англии. Водоворот деловой активности, который захватывал Лондон, манил и затягивал в себя людей. Дед Чосера, Роберт Ле Чосер, был торговцем тканями, в конце концов поступившим,

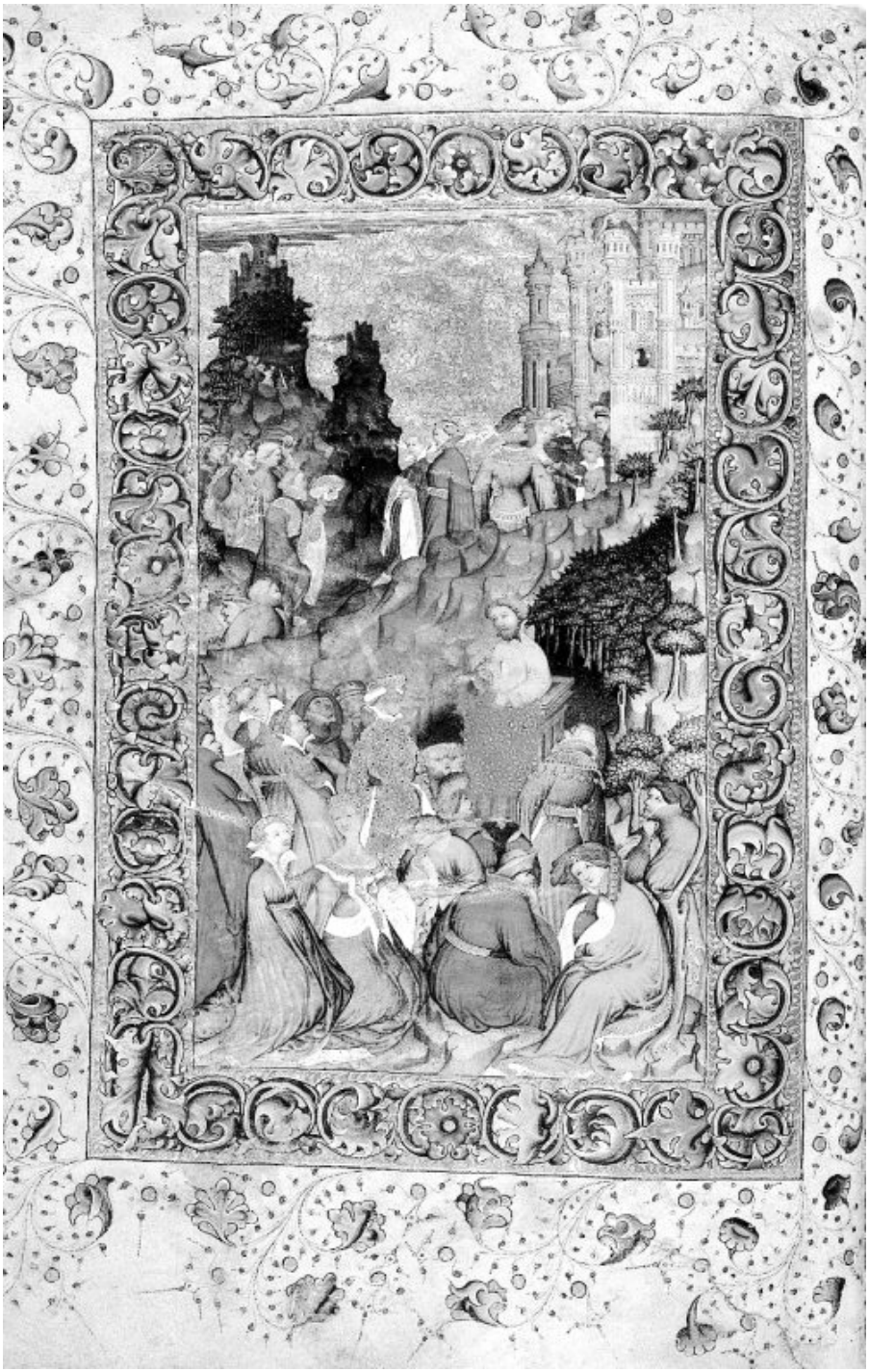
подобно внуку, на службу к королю – связи двора и торговли в то время были уже тесными. Он был известен также как “Роберт Малин”, то есть “хитрый” – качество, унаследованное и знаменитым его отпрыском. Происхождение фамилии Чосер не совсем ясно. Возможно, она производное от слова “chauffecire” – “запечатывать бумаги горячим воском”, как то делают клерки, но более вероятно, что фамилия эта произошла от слова “chaussier” – “сапожник” или же “чулочник”. Впрочем, к семейству Чосер это имеет мало отношения, ибо фамилию они получили от бывшего своего хозяина – Джона Ле Чосера, убитого в драке.

Отец поэта, Джон Чосер, был преуспевающим и влиятельным виноторговцем, также служившим при дворе; он участвовал в неудачной кампании Эдуарда III в Шотландии в 1327 году и стал впоследствии помощником королевского мажордома. В ранней юности он был похищен посланцами своей тетки и насильно увезен в Ипсвич – план, призванный каким-то образом обеспечить ей выгодный брак, но дело окончилось судом над предприимчивой дамой и препровождением ее в тюрьму Маршалси. Этот странный эпизод служит иллюстрацией беззакония и насилия, пронизывающих собой действительность XIV века. Дед Чосера по материнской линии, Джон де Коптон, был убит в 1313 году вблизи своего дома в Олдгейте. Убийство это зафиксировано хрониками; вообще же убийства, похищения и изнасилования были тогда в порядке вещей; позднее, как мы и убедимся, и самого Чосера обвинят в изнасиловании. Агнес де Коптон, мать Чосера, стала ценным приобретением для семьи: она была богатой наследницей, хозяйкой многочисленных строений и земель в Степни и вдобавок являлась племянницей и

подопечной королевского казначея.

Таким образом, Джеффри Чосер увидел свет в доме людей богатых и влиятельных. Точная дата его рождения неизвестна, но все доступные источники указывают отрезок времени между 1341 и 1343 годами. Есть свидетельство, что у Чосера была сестра по имени Кэтрин, но никаких метрических записей того времени о рождении в семействе братьев и сестер так и не найдено. Родился Чосер на верхнем этаже родовой усадьбы Чосеров на Темз-стрит, протянувшейся параллельно реке в районе Вайнтри, заселенном, как это явствует из названия, виноторговцами. Дом был просторным, удобным, изящной архитектуры. Как свидетельствуют хроники, земли усадьбы шли от реки на юге до ручья под названием Уолбрук на севере; в ручей скидывался мусор из всех окрестных домов. Каждый имеющий представление о топографии поймет, что при таком большом усадебном доме имелся и значительных размеров сад, тянувшийся от задней его стены до самого Уолбрука. Были там и погреба, куда помещали винные бочонки после разгрузки на верфях, находившихся неподалеку.

В нижнем этаже, над погребами, помещалась отцовская контора с окнами на улицу, а за нею, видимо, зал, где проходили семейные торжества. Наверху располагались кухня, кладовая, уборная и, возможно, чердачные помещения.



Само местоположение дома указывало на солидность и процветание семейства. Рядом обитали другие богатые виноторговцы; некоторые из здешних домов имели даже

внутренние дворы, но особой пышности не наблюдалось: в основном здесь работали и торговали. Ряд улиц и переулков вели от Темз-стрит к реке, главным образом к верфи Трех Журавлей, где разгружались вина, прибывавшие из Гаскони. Чуть к западу находился Квинхайт, куда разнообразными судами доставлялись соль и рыба, зерно и пиломатериалы. Чосеру были досконально знакомы эти шумные городские артерии – Симпсон-Лейн, Спиттл-Лейн, Брикелс-Лейн, Брод-Лейн – самая удобная для проезда повозок и телег – и улица Трех Журавлей, в детские годы Чосера называвшаяся улицей Цветной Таверны. В нескольких ярдах оттуда был Стил-Ярд – охраняемая зона, где жили и работали немецкие купцы; возле набережной селились колонией и генуэзские купцы, – существует предположение, что знанием итальянского Чосер обязан общению с ними в ранние его годы. Несомненно, местом его взросления стал город космополитический.

Таким образом, можно легко представить себе Чосера на одной из главнейших из лондонских артерий – Чипсайде, улице, с которой он был связан всю свою жизнь. Он был поэтом скорее рассвета, чем заката, и человеком более средневековым, нежели современным, и пробуждался на рассвете вместе со всем средневековым Чипсайдом. За час до восхода солнца, с ударами колокола на церкви Святого Фомы Эконского на углу Скобяной улицы, открывались главные городские ворота, впуская в еще погруженный во тьму город лоточников и разносчиков, торговцев фруктами с корзинками крыжовника и яблок, поденщиков и подмастерьев, а также слуг, живших за городскими стенами в тесных и вонючих предместьях Лондона и пригороде. Колокольным звоном всех церквей отмечался конец ночного дозора, но к тому времени лондонский рабочий люд по большей части был уже на ногах и успевал помыться и приготовиться к новому дню. Ходил стишок:

> В пять вставать, обедать в девять,
> В пять за ужин, в девять – спать,
> До ста лет беды не знать.

Чипсайд был улицей широкой, но шумной и вечно запруженной народом. По сторонам ее шли ряды однотипных деревянных домов в три этажа, с фронтонами, обращенными на улицу, и верхними этажами, нависающими над дорогой; дома эти были ярких цветов и украшены затейливой резьбой. Строились они на каменном фундаменте, а выше были бревенчатыми. Встречались дома и поменьше – в два этажа, были и совсем

крохотные – в одну комнату, разделенную перегородками, – дома бедняков.

Эти, как их называли, “развалюхи” можно было углядеть где-нибудь в переулках, отходивших от главной артерии. И все же Чипсайд славилась своими лавками и торговлей. На одном ее конце, вблизи Старого Приказа и Святой Марии Вулчерчской, находился Скотный рынок, где торговали мясом и живностью. На другом конце Чипсайда, возле улицы Четок и собора Святого Павла, тоже располагался большой крытый рынок, куда торговцы свозили свои короба. Но в основном преобладали мелкие лавки, лавочки и склады товара, встречавшиеся через каждые десять футов. Любая область торговли имела на улице определенное место, так, например, ювелиры располагались между Пятничной и Хлебной; из сумрака их лавок на Чосера глядели выставленные на продажу ложки и чаши, позолоченные серебряные распятия, янтарные или коралловые четки. Пятничная улица была названа по Рыбному рынку, торговавшему на ней по пятницам, а на Хлебной были заведения булочников и съестные лавки, где за пенни можно было купить десяток яиц или зажаренного жаворонка, а за пять пенсов – целую курицу в тесте. Непосредственно за ювелирами между Пятничной и Боу-стрит находились лавки торговцев тканями с их шелками и прочими материями, напротив обосновались галантерейщики – там торговали шляпами, кружевами, футлярами для перьев. Иные лавки специализировались на игрушках, лекарствах, пряностях и всевозможных мелочах. На отходившей от Чипсайда улице Четос торговали книгами и марками, псалтырями, календарями, требниками, молитвенниками и лечебниками. Знак, указывающий на предмет торговли, вывешивался на столбе, помимо этого деревянные стены заведения украшались соответствующими изображениями. Крышами лавок часто служили нависавшие над ними верхний этаж или надстройка, где в одной или двух комнатах жили лавочники с семьями. Если в доме был погребок или подпол, его использовали для хранения товара или же припасов, в числе которых на первом месте находился эль.

Среди одноэтажных хибарок и двухэтажных строений с беленными известкой стенами и соломенной кровлей мелькали пустыри и садики. По улочкам и переулкам, между лавками и жилыми домами, заборами и складами бродили куры и утки, овцы и свиньи. Мостовые были сильно разбиты, всюду высились кучи мусора и навоза, ждущие уборщика или золотаря. В воздухе стоял запах горелых дров и битума, свалки и гниющей требухи.

С восходом солнца открывались главные городские ворота, и от Майл-энда начинали тянуться вереницы подвод с хлебом:

пекари везли на лондонские улицы свой драгоценный груз, среди которого лучшим почитали хлеб с изюмом и цукатами и худшим – так называемый “таможенный”. Лошади и экипажи также начинали прокладывать себе путь, протискиваясь по узким улицам между носильщиками, торговцами и водоносами. Город беспрерывно разрастался, и всюду кипела стройка. К концу XIV века Лондон насчитывал, по различным оценкам, от сорока до пятидесяти тысяч жителей, но, какова бы ни была плотность населения в пределах квадратной мили, внутри городских стен стоял непрекращавшийся шум и гвалт и кипела жизнь. Лондонцев можно было уподобить пчелиному рою, вечно занятому своим делом, но если тронуть – весьма опасному. Однако звучавшие на лондонских улицах утренние приветствия были доброжелательными: “Благослови тебя Господь…”, “Спаси тебя Боже”, “Бог в помощь”, “Доброго дня, хорошей погоды”. С этими словами смешивались постепенно росший личный шум и первые крики разносчиков: “Дюжина селедок за пенни!”, “Пирожки горячие!”, “Жирные свиньи и гуси!”, “Говяжьи ребрышки!”, “Пироги на любой вкус!”. На углу какой-нибудь слепец с белым посохом в руке распевал популярную песню “На Джей потратил я напрасно труд и время”, упоминаемую Чосером, или “Любовь моя уехала в далекие края”. Чосер хорошо усвоил язык улицы, густую колоритную смесь простонародной латыни с англо-нормандской фразеологией и местным английским говором. Это проявляется у него как в настойчивом обращении к столь свойственной лондонской речи гиперболичности, так и во вкравшихся в его стихи отдельных словечках и выражениях: “Постой-ка, парень, охолони чуток”, “Рот на замок”, “Чего городишь-то”, “Поберегись-ка, дурень” и так далее. По ночам, в минуты относительной тишины, был явственно слышен шум реки.

Для Лондона XIV века и его культуры символичным представляется приблизительное совпадение количества церквей и трактиров (первых насчитывалось девяносто девять, вторых же – девяносто пять; богаделен и часовен при этом никто не считал, как и повсеместно распространенных пивных). В последующие века набожность лондонцев была признана всей Европой, и нет оснований полагать, что в XVI веке религиозное рвение их было менее пылким. Центром и самым торжественным событием религиозной жизни Лондона являлась месса. В благословенный миг евхаристии, когда хлеб становился Телом Христовым, начинали звонить колокола. Самый ход времени в городе соизмерялся с таинством религиозного обряда и определялся им. В культуре также властвовали обряд и ритуал. Светская иерархия и светские празднества и церемонии строились в подражание

церковным. Неудивительно поэтому, что поэзия Чосера полнится религиозной символикой и религиозными образами. “Кентерберийские рассказы” обрамлены в сюжет паломничества, и почти в каждом из них, прямо или косвенно, речь заходит и о “благости Святой Церкви”. В этом собрании позднесредневековых повествований содержатся и рассказы о святых, и тексты весьма благочестивого содержания. Праздники и религиозные процессии на лондонских улицах, как и кричаще яркая одежда горожан, тоже свидетельствуют о тяготении тогдашней лондонской культуры к зрелищности. Культура эта несет следы взаимопроникновения идеализма и реализма, и потому даже самые натуралистические детали у Чосера могут полниться благочестием. В мистериях, которые так часто наблюдал Чосер, библейские легенды перемежались фарсом, в них вклинивались скабрезности; в “Рассказе Мельника” из “Кентерберийских рассказов” доморощенная версия легенды о Ное и ковчеге становится поводом для многочисленных упоминаний всяческих “пуканий”, “писаний” и “голых задниц”. От цивилизации, так грозно теснимой постоянной угрозой смерти и болезни, трудно ожидать неукоснительного соблюдения правил приличия и “хорошего тона”. Описание Лондона XII века у Уильяма Фицстивена дает нам представление об обстановке, в которой начинались рост и развитие города.

Фицстивен пишет о прорезаемых чистыми ручьями лугах, что раскинулись непосредственно за городскими стенами; даже в XVI веке стражники на стенах города и у его ворот могли любоваться картиной необозримых просторов, а о гашении огня в Лондоне работавших на окрестных полях оповещали колокольным звоном. Он упоминает “ровный луг” – место, предназначенное для конных состязаний и лошадиных торгов, которое во времена Чосера стало называться Смитфилдом, там устраивали рынок и ярмарку, а в рощице вязов неподалеку – вешали преступников. Уже тогда Лондон был городом ярких контрастов. Фицстивен пишет о том, как строилось управление городом, о тюрьмах, шерифах и судах. Чосер тоже рос в оковах средневековых установлений, идущих “с незапамятных времен”.

Его поэзия чаще ассоциируется с весной, нежели с осенью, так как и сам он относил себя к свежей, только что народившейся цивилизации, хоть Лондон и считался старше Рима. В заключение своего очерка Фицстивен описывает бытовавшие в городе спортивные развлечения и празднества. Театральные инсценировки евангельских сюжетов и представления из жизни святых он упоминает наряду с петушиными боями, которые устраивались школярами Шровтайда. Он описывает футбольные

матчи и скачки, соревнования конькобежцев и стрелков из лука, а также игры с быком и травлю кабана злыми псами. Описание подобных грубых развлечений дает повод Фицстивену порассуждать и о вспышках ярости и жестокости у лондонцев, городские хроники полнятся документальными свидетельствами о бунтах и смертоубийственных драках, с которыми оказался лично знаком и Чосер. Фицстивен замечает также, что “к большим неудобствам жизни в Лондоне можно отнести неумеренное пьянство некоторых глупцов и частые пожары”. Так как подобное сетование мы не раз встречаем и в последующие века, вплоть до нашего времени, мы имеем основание предположить, что город этот сохранил ряд неизменных черт. Прямым доказательством чему служит и поэзия Чосера, где за приметами и деталями четырнадцатого столетия различим вечный лондонский силуэт. Чосера увлекают скопления людей и процессий. Кентерберийские паломники также образуют своего рода процессию, а фигура “истинного и безупречного рыцаря” могла быть списана со святого Георгия на колеснице карнавального шествия, двигавшегося по Корнхиллу и Чипсайду. Чосера занимают также многообразие и контрасты мира, где так причудливо смешиваются “высокое” и “низкое”. Его произведения многоголосы. И голоса эти словно соревнуются друг с другом, как будто он вторит многоголосью лондонской толпы; а живость и театральная выразительность его речи, возможно, порождены его наблюдениями над непрестанной изменчивостью города.

Чосеру дороги каждое зрелище и видимое проявление жизни Лондона и его души, и они служат для него источником наслаждения. Поистине он живописец Лондона.

В детстве Чосер жил возле церкви Святого Мартина в Винтри, и, несомненно, крестили его там на следующий же день после рождения. Рядом находился большой дом из камня и дерева, носивший название “Винтри”. В разное время в нем жили Джон Джизерс и Генри Пикард – оба являвшиеся виноторговцами и оба ставшие лорд-мэрами Лондона. Но здесь же, в непосредственном соседстве, располагались харчевни и кабаки, посещавшиеся как купцами, так и грузчиками с верфей; наибольшее оживление царило там с апреля по июнь, когда сцеживали молодое вино, и в ноябре – когда поступало выдержанное марочное. Один из отрезков Темз-стрит назывался “Поварской ряд”, потому что, согласно лондонскому историографу XVI века Джону Стоу, в то время (как и позднее) каждый зарабатывал на жизнь строго своим ремеслом и никто не мешался в дела другого: “повара готовили мясо и не торговали вином, а кабатчики торговали вином, но не мясом”.

Рос Чосер в атмосфере богатства. Описания тогдашних купеческих домов свидетельствуют о признаках достаточного комфорта – пухлые перины, подушки, вышитые занавеси и гобелены упоминаются в каждом из списков домашнего имущества. Современное представление о средневековом доме сводится к воображаемым голым каменным стенам с вонючей грязью по углам, но на самом деле дома зажиточных горожан в то время были удобными, чистыми и красивыми. В деревянных ларях и шкафах хранилось столовое серебро – непременный знак богатства, стены же украшались росписью и гобеленами. Одежду хозяев отличало не только удобство, но и изящество. Юного Чосера можно представить себе в шерстяных панталонах и длинной, до самых пят, шерстяной тунике, но воссоздать в точности атмосферу и уклад родительского дома поэта теперь, по прошествии стольких лет, мы, конечно, не можем.

В своем творчестве Чосер славит матерей, как нежных провозвестниц и проводниц отцовской воли в обществе, где, по преимуществу, царит патриархат. Матери у него всегда терпеливы и кротки, ласковы и покорны. Однако было бы неразумно судить об обстановке в его родном гнезде, руководствуясь лишь его творчеством. В его поэзии проглядывает и тенденция изображать женщин покинутыми, терпящими предательство, однако нет свидетельств, что такую же участь испытала и Агнес де Коптон. Замечено, что отцы в творчестве Чосера часто отсутствуют, но и из этого делать какие-либо выводы было бы опрометчиво.

Однако отец Чосера сыграл заметную роль в его жизни в один решающий период, когда, будучи помощником королевского мажордома, он в 1347 году был призван выполнить одну из своих служебных обязанностей в Саутгемптоне, куда был послан с семьей для контроля за взиманием винных пошлин. На следующий год после отъезда Чосеров из Лондона в город пришла беда, позднее названная Черной смертью из-за черных нарывов, которые образовывала на теле жертвы бубонная чума. Считается, что эпидемия 1348–1349 годов выкосила тридцать процентов населения Англии. В невероятной скученности и сутолоке Лондона, как мы можем предположить, число жертв было гораздо выше, хоть достоверными цифрами мы и не обладаем. Однако нетрудно предположить, что, возвратившись к себе на Темз-стрит в конце 1349 или же в начале 1350 года, семейство Чосер нашло Лондон в значительной степени опустевшим. О впечатлении, которое это должно было произвести на мальчика, можно только догадываться. Единственное упоминание чумной эпидемии мы находим в рассказе о приставе

церковного суда:

> Как вор в ночи, кралася Смерть,
> Верша губительное дело.

Но это лишь образ в нравоучительном пассаже, где говорится о грехе алчности. Вспомним, что “Декамерон” Боккаччо, возможно, оказавший влияние на сюжетное построение “Кентерберийских рассказов”, был рожден как собрание историй, призванных скрасить тревожное ожидание и унять беспокойство публики перед лицом грозившей им чумы. Высказывалось предположение, что хорошо известная увлеченность Чосера чтением тоже непосредственно связана с его ощущением реальности как мира зыбкого и чреватого опасностями, к книгам же он обращался как к иной, устойчивой, реальности в неустойчивом мире. Разумеется, в предположении этом есть доля истины. Однако было бы натяжкой прямо проецировать чувства и ощущения современного человека на сознание человека средневекового. Людям XIV века, а в особенности лондонцам, угроза смерти или болезней была привычна, к тому же не следует забывать и о том, что для них смерть являлась лишь этапом в вечной драме человеческого существования. Так или иначе, но к семейству Чосеров эпидемия оказалась благосклонной, поскольку в результате они получили в наследство многое из имущества родственников, которым не посчастливилось, оставшись в Лондоне, они стали жертвами эпидемии.

По возвращении в Лондон, надо полагать, для Чосера начались годы серьезного учения, хотя свидетельств, в чем это учение заключалось, мы и не имеем. Учиться сыновья видных горожан в то время начинали в семь лет, поступая в школу – певческую или грамматическую, где зубрили латынь. С тем же успехом Джеффри Чосер мог обучаться дома или даже у священника церкви Святого Мартина в Винтри.

Многие исследователи сходятся во мнении, что послан он был в школу при богадельне Святого Павла, находившейся в нескольких шагах от его дома, чем можно и объяснить знание им латыни и латинских авторов, в частности Овидия и Вергилия. В этой школе его вероятнее всего обучали латыни по грамматике Доната, известного многим поколениям школьников, и знакомили с более современными книгами по риторике и грамматике; с латыни здесь, вероятно, переводили не только на английский, но и на французский – ведь англо-нормандские истоки английского общества к тому времени еще не были изжиты. Однако все эти домыслы и разнообразные

предположения основываются на ревностной вере в то, что талант Чосера не мог не быть отшлифован систематическим формальным образованием. Однако проблема заключается в том, что доказательствами вера эта не подкрепляется. При этом один из возможных источников образованности Чосера мы находим ближе к родным пенатам. Примерно в 1330 году в лондонской книжной лавке было составлено рукописное собрание английских текстов, получившее название “Манускрипт Очинлека”; оно включало

в себя более пятидесяти наименований, в том числе семнадцать английских романов, а также сатиры и жизнеописания святых. Собрание это весьма убедительно связывают с семейством Чосер и его становлением. Несомненно, что подобная же антология могла быть известна и юному Чосеру. Как и Шекспир, Чосер питал свой гений, собирая и впитывая произведения других авторов, в этом смысле раннее его знакомство с английскими текстами было весьма знаменательно.

Глава вторая
Воспитание при дворе

Настоящей школой для Чосера стала его придворная служба. Впервые фамилия его появляется в счетах Елизаветы, графини Ольстерской, относящихся к маю 1357 года, там зафиксирована некая сумма, “выданная “Голфриду Чосеру из Лондона”, в этот же период Чосер получает и “пальток” – короткий камзол, приличествующий придворному пажу. Графиня Елизавета вышла замуж за принца Лионеля, второго сына английского короля Эдуарда III. Упомянутый “пальток” служит доказательством влияния и уважения, которыми пользовалось при дворе семейство Чосер, что помогло им добыть для отпрыска столь завидную должность.

Жизнь юного пажа оказалась неспокойной, проходила она в бесконечных переездах из

Виндзора в Вудсток и из Хэтфилда в Энглси в составе свиты. Эти перемещения из замка в замок и из поместья в поместье лишь участились, когда осенью 1359 года свита графини влилась в свиту принца Лайонела Ольстерского. Чосер теперь, по крайней мере номинально, стал считаться пажом Лайонела Ольстерского. Пребывание при дворе способствовало как его карьере, так и образованию, как профессии, так и исполнению долга. Сэр Джон Фортескью в своем написанном в XV веке трактате об английском законодательстве утверждает, что придворная служба “совершенствовала атлетические умения, воспитывала нравственность и хорошие манеры” и потому можно назвать ее питомником, где пестовались разного рода искусства. Молодому Чосеру предоставлялись жилье и одежда, в том числе и упомянутый в счетах “пальток”. Однако деньги эти тратились не зря, ибо юноше предстояло жить и возрастать в кругу самых знатных и замечательных людей его времени и вступить на первую ступень административной лестницы, ведущей к высшим придворным постам, получая при этом твердую опору и хорошее руководство. При дворе находился грамотей или священник, являвшийся для пажей “педагогом”, учившим грамматике и языкам. Впоследствии Чосер освоил и делопроизводство – чтение и составление деловых бумаг; из дальнейшей его службы ясно, что обучали его и основам дипломатии. Учтивый придворный, или “джентльмен”, обязан был к тому же “хорошо говорить” и “иметь в запасе много слов”. Впрочем, свойства эти характеризуют и поэта. Однако в ранние годы свои при дворе

Чосер, почти исключительно прислуживал и присутствовал. В ходу были своды особых инструкций, раскрывавших юному пажу секреты благопристойного поведения, того, как следует угождать старшим по возрасту и положению, изобиловавшие пассажами вроде “сплевывай аккуратнее, загораживая рот рукой”, “мясо режь, держа кусок тремя пальцами, как того требует вежливость”, “не кусай хлеб, но отщипывай его”. Молодого Чосера обучали искусству беседы на французском и латыни, а также основам музыкальных искусств, как то пению и танцам. В книге “Двор Эдуарда IV” молодым сквайрам предписывается умение “играть на флейте или арфе, петь или же как-нибудь иначе увеселять двор и угождать иностранцам”.

Молодой сквайр из “Кентерберийских рассказов” поет и играет на флейте:

> Он пел и в флейту дул весь день
> Так сладостно…

Нередко делались предположения, что и Чосер отдал дань восхвалению любви и рыцарских доблестей в песенной форме; одно несомненно: раннее его воспитание не могло препятствовать ему в этом. Так же несомненно и знакомство его с рыцарскими романами, которыми увлекался двор; его поэзия свидетельствует о присущем ему природном чувстве ритма и даре рифмовать, а грань между стихом английским и французским он ощущал достаточно четко. Мир преданий и рыцарских подвигов и приключений был величествен и театрален, полнился условностями и неукоснительно соблюдаемыми правилами, но чуткий и умный юноша улавливал в нем и драматизм, и нечто комическое. Собственное его творчество отразило противоречие между искусством и реальностью. Играть в кости юным пажам возбранялось, но при дворе существовали и иные, более достойные и благородные способы проводить свободное время, среди которых центральное место занимала охота – с соколом или ястребом или же без них. Присущая этому занятию, но строго ограниченная определенными правилами жестокость отвечала идеалу рыцарства. Сюжет охоты Чосер ввел в раннюю свою поэму “Книга герцогини”, а встречающаяся там охотничья терминология свидетельствует о его хорошем знании предмета. В наши дни занятие охотой утратило популярность, став анахронизмом, но во времена Чосера (и значительно позднее) оно занимало важное место в культуре и было неотделимо от понятия “хорошее общество”: одно это указывает на протяженность того обратного пути, который нам следует преодолеть, чтобы понять Чосера и

мир вокруг него. Эту сторону рыцарских добродетелей Чосер воспел в образе рыцаря из “Кентерберийских рассказов” в “Рассказе Рыцаря”, который следует за “Общим прологом”.

Правда, следует сказать, что рыцарская жизнь на практике не всегда оказывалась романтичной.

Следующее упоминание фамилии Чосера содержится в документах двора, и упоминается она в связи с его пленением на поле брани. Вместе с другими свитскими принца Лайонела он был послан во Францию для скорейшего претворения в жизнь плана Эдуарда короноваться в Реймсе в качестве французского короля. Отряд принца был невелик и являлся частью более внушительного воинского подразделения, которым командовал третий из сыновей Эдуарда, брат Лайонела Джон Гонт. Соответственно и роль отряда в войне была не столь существенна. Чосер и его товарищи по оружию, по всей видимости, участвовали в осаде Реймса и отдельных мелких стычках в окрестностях города. Впечатления Чосера от осады отразились в строках “Храма Славы”, где он вспоминает грохот пущенного из катапульты каменного ядра:

> И с шумом несся камень из машины.

В конце концов отряд Чосера оказался возле Ретеля, городка, находившегося в двадцати милях от Реймса, где Чосеру не посчастливилось и он был взят в плен в ноябре 1359 года. Автор хроники описывает, как несколько рыцарей и сквайров “были убиты ночью на биваке, других же захватили, когда они группами мародерствовали в полях”. Весьма вероятно, Чосер принимал участие в одной из таких вылазок воинов, отчаянно нуждавшихся в продовольствии и припасах, под снегом и дождем рыскавших по окрестностям.

Четыре месяца спустя из плена его выкупили за шестнадцать фунтов – сумму, вполне достойную valettus’a, или йомена, которым, надо думать, Чосер к тому времени стал. В позднейшем творчестве своем Чосер никогда не касался этого эпизода, в отличие от французских своих современников, нередко пускавшихся в автобиографические воспоминания о своих военных приключениях. Однако в “Храме Славы” все же есть образ “стремительно летящего ядра”, и там же поэт пишет о звуках горна и рога, которыми поднимали дух воинов.

> Будь прокляты те звуки горна
> И рога, что позвал нас в бой,
> В котором столько крови пролилось.

Собственные ли впечатления вызвали к жизни эти строки, или же это всего лишь игра воображения – вопрос, остающийся открытым. “Рассказ Рыцаря” уснащают староанглийские обороты и аллитерации. К лично пережитому тут примешивается почерпнутое из книг: “Скрежещет сабли сталь о сталь кольчуги…” Чосера часто относят к “книжным поэтам”, и сам он весьма старался представить себя таковым. Он словно бежал от непосредственных впечатлений, укрываясь в волшебной стране искусства. Вообще поле битвы и гибельные противостояния кажутся не самым подходящим местом для учтивого и дипломатичного Чосера. Однако известно, что семь месяцев спустя он возвращается во Францию к принцу Лайонелю, который вел там переговоры о мире, и, благодаря своему положению и репутации человека ответственного, выступает его порученцем: доставляет в Англию его личную корреспонденцию. Несмотря на молодость, Чосер являлся заметной фигурой при дворе. Ему предстояли успешная карьера и благородное поприще.

Как проходила жизнь Чосера в течение нескольких лет после французской кампании 1359–1360 годов, остается неизвестным, события нигде не зафиксированы. В 1361 году принца Лайонеля направляют в его ирландские владения, но свидетельств, что и молодой паж отправляется с ним, у нас нет. Возможно, Чосер остается в Англии, но о его занятиях и обязанностях с 1360 по 1367 год мы сведений не имеем. Так же скрыты от нас и несколько лет жизни молодого Шекспира – счастливое совпадение выпавших из поля нашего зрения лет, призванное напоминать биографам, что не все в человеке доступно пониманию.

Высказывалась догадка, что Чосер в это время поступает на службу к Джону Гонту; тот факт, что Гонт становится впоследствии его главным покровителем и платит ему ежегодное содержание, опровергнуть невозможно. Другие полагают, что по отъезде Лайонела в Ирландию молодой паж стал служить непосредственно при дворе Эдуарда III; в официальном документе от июня 1367 года упомянут “Джеффри Чосер”, йомен на службе двора – “noster valletus”, то есть наш слуга, но это может означать, что такого звания Чосер удостаивается лишь в это время. Правда, с тех пор и впредь следуют постоянные упоминания его в числе “приближенных” суверена, путешествующих всегда под охраной короны.

Бытует и третье предположение – весьма любопытное, так как

оно выводит Чосера за пределы королевского двора. В XVI веке один из биографов и издателей Чосера Томас Шпет утверждал, что Чосер изучал юриспруденцию в лондонском Внутреннем Темпле и что “много лет спустя магистр Бакли обнаружил в архиве заведения запись о том, что с Джеффри Чосера был взыскан штраф в два шиллинга за побои, нанесенные им проходившему по улице брату францисканцу”. Предположением, что Чосер обучался юриспруденции, можно было бы пренебречь, отбросив его как домысел тех, кто верит, что всякая ученость поэта есть неизбежное следствие благотворного влияния, которое оказало на него систематическое образование, подобное тому, что некогда получили они сами. Им невдомек, что гений потому и гений, что может произрасти и расцвесть в условиях, казалось бы, самых неподходящих. Ведь говорил же Джон Диккенс о знаменитом своем сыне: “Можно сказать, сэр, что выучил он себя сам”. Однако существуют косвенные подтверждения некоторой двойственности свидетельства Шпета. Бакли на самом деле был хранителем архива Внутреннего Темпла, а штраф за оскорбление действием, который присудили Чосеру, был в то время в порядке вещей. Большинство современников Шпета придерживались мнения, что Чосер обучался в Оксфорде или Кембридже, а Темпл уж конечно учеников не принимал. Так что сенсационное сообщение Шпета вызывает удивление и интерес, но вовсе не гарантирует правдивости предоставленной им информации. Бакли мог желать во что бы то ни стало связать того, кто считался основоположником английской литературы, с учреждением, к деятельности которого был сам причастен, и мог употребить для этого какие угодно средства. Оскорбление физическим действием монаха-францисканца вполне соответствовало бы репутации раннего провозвестника протестантизма, которой пользовался Чосер. Иными словами, версия эта не вполне убедительна, но, с другой стороны, здравый смысл и практичность служителей Церкви допускают возможность приема учеников в Темпл XIV века. Путь в юриспруденцию и овладение всеми ее премудростями были делом долгим, трудоемким и сопряженным с известными опасностями. Сохранились исторические свидетельства, что в 1381 году толпа недовольных жгла на улице книги “служителей закона”. Позднее же юридическое образование считалось необходимым условием для успешной карьеры придворного и даже церковника. Томас Мор, столь похожий на своего великого предшественника и тем, что был писателем лондонским, и тем, что служил при дворе, проходил обучение в одном из иннов лорда-канцлера.

Тот факт, что Чосера обучали или же он сам обучался

искусству риторики, является бесспорным. Вне всякого сомнения его поэзия строится по законам этого искусства и соблюдает правила и ограничения, которым риторика учит и которые были изложены в соответствующих учебниках и пособиях, таких как “Poetria Nova” Джоффри из Винсофа. Чосер умело использует олицетворения, дополнения и отступления. На некую сопричастность поэта судейским иннам указывает и его описание “судейского подворья эконома”, под чьим началом

> … тридцать клерков жили,
> И хоть меж них законоведы были…
> Мог эконом любого околпачить[1].

Не так давно распространение получила идея, согласно которой многое в английской драме и поэзии косвенным образом берет исток в судебных заседаниях иннов, где под видом рассмотрения реальных дел иногда устраивались целые представления и рассказывались вымышленные истории на потеху судейским. Первые пьесы разыгрывались в залах иннов, а мастера прозы, такие как Мор, оттачивали свое искусство в учебных театриках спорных тяжб и процессов. В этом смысле возможное пребывание Чосера в стенах Темпла являлось бы историческим и литературным прецедентом. Но доказательств этого пребывания нет. Мы можем говорить определенно лишь об употреблении Чосером судебной терминологии и о его знании судебной процедуры.

> “Ха-ха! – воскликнул он, —
> Недурно вынес суд
> Решение по иску!”

Приняв гипотезу о пребывании Чосера во Внутреннем Темпле, биографу легче объяснить знакомство нашего поэта с другим крупным поэтом эпохи – Джоном Гауэром, который и сам был связан с Темплом. Гауэр, по-видимому, поднимался по лестнице судейских чинов и, по собственному его признанию, носил “la raye mańce” – полосатую мантию служителя Фемиды; он был старше Чосера и уже был известен как сочинитель французских стихов, когда их связало знакомство столь тесное, что последний избрал друга своим поверенным и наставником в юридических вопросах в период заморского путешествия по делам короля. Похоже, между ними существовало духовное родство.

Глава третья
Дипломат

Когда имя Чосера в 1366 году вновь появляется в исторических документах, то он уже дипломат на службе короля. В феврале 1366 года повелением короля Наварры “Jeffroy de Chaus-sere esquire englois en sa compaignie trois compaignons”[2] была выдана охранная грамота для проезда по стране. Высказывалось предположение, что это было паломническое путешествие и группа направлялась в Испанию, чтобы поклониться там мощам святого Якова Компостельского и получить особый знак пилигримов – створку раковины, крепившуюся к одежде. Конечно, отправиться в паломничество было тогда заветной мечтой многих, но только если само путешествие не падало на время Великого поста. Гораздо вероятнее, что группе этой была поручена секретная миссия, связанная с Педро Кастильским, ставшим тогда союзником старшего сына Эдуарда III, так называемым Черным Принцем. Союзу этому в то время мешала грозившая вторжением Франция. Неизвестно, вел ли Чосер переговоры с королем Наваррским или же убеждал некие круги в Англии оказать помощь Педро, важно не это, важен сам факт серьезной и, возможно, тайной дипломатической миссии, порученной двадцатичетырехлетнему придворному. От него ожидали многого, и по ступеням карьеры к valettus’у и сквайру он, несомненно, поднялся стремительно и без задержек. Он принадлежал к “новым людям”, выходцам из мира лондонского купечества, дельцов и финансистов, сумевших проникнуть в другой круг и утвердить себя среди более древних и развитых служителей короны. И все же положение Чосера было несколько двусмысленно: считаясь “джентльменом”, он не был признан аристократом. Можно сделать вывод, что такая неопределенность положения уже сама по себе давала ему возможность наблюдать и правильно оценивать социальные изменения и сдвиги, происходившие вокруг. Некоторые из “Кентерберийских рассказов” затрагивают эту тему: паломники дискутируют о том, благородство ли происхождения или же личные качества делают из человека “джентльмена”. Поколение Чосера весьма занимала эта проблема.

Существовали и другие пути снискать себе королевское благоволение и покровительство.

В начале 1366 года у Чосера умер отец, и, хотя завещания не

сохранилось, немыслимо, чтобы единственный сын не получил значительную часть большого наследства. Приобретя такое богатство, Чосер смог претендовать на руку и сердце Филиппы де Роэт, уже являвшейся к тому времени фрейлиной супруги короля Филиппы. В королевских счетах упоминается “Филиппа Пэн”. “Пэн” – это вариант имени “Пэон”, отца Филиппы, сэра Пэона де Роэта.

Женитьба Чосера на Филиппе де Роэт есть, без сомнения, то, что в будущем стало именоваться “женитьбой из карьерных побуждений”. Ничего необычного в подобного рода союзах двор не видел: упрочивая такими браками свое положение и еще теснее объединяясь в кланы, придворные подражали в этом своим патронам, и Чосер в данном случае не представлял собой исключения, поступая в соответствии с принятым при дворе обыкновением.

В начале осени того же года Филиппе Чосер, “une damoiselle de la chambre nostre treschere compaigne la roine”[3], распоряжением Эдуарда III было пожаловано ежегодное содержание в 10 марок. В качестве камер-фрейлины королевы супруга Чосера могла и дальше способствовать карьере и упрочивать положение молодого своего мужа. О жизни Чосера дома и семейных его делах известно мало. Видимо, первым его ребенком была дочь – Элизабет Чосер, в 1381 году принятая в монастырь Черных Монахинь на Бишопсгейт, а позднее обитавшая в аббатстве Баркинг. В монастырском заточении следы Элизабет теряются. О Томасе Чосере нам известно больше. Родился он в 1367 году и еще в раннем возрасте поступил на службу к Джону Гонту, где, пребывая всю свою жизнь, скопил состояние и добился всяческого успеха. Его дочь – внучка Чосера – наконец-то смогла стереть границу между аристократами и отпрысками купеческих семейств, став герцогиней Суффолкской. Заветное стремление Чосеров считаться “истинно благородными” было все-таки достигнуто.

К судьбе Элизабет Джон Гонт также проявлял участие, и не кто иной, как именно он, заплатил за постриг ее в черные монахини. Этот акт благодеяния заставляет некоторых из биографов Чосера предполагать худшее. Был сделан вывод, что оба они – Томас и Элизабет – на самом деле являлись детьми, рожденными Филиппой Чосер от Гонта, и что поэт добровольно либо по принуждению признал их законными. Не вызывает сомнений, что сестра Филиппы, Кэтрин Суинфорд, впоследствии являлась официальной любовницей Джона Гонта, но все прочие связи остаются в сфере домыслов. Если указанное – правда, то это обстоятельство чрезвычайно усложняет социальный статус Чосера

и положение его при дворе, а также проливает дополнительный свет на причины характерной для него иронической отстраненности.

Но все это остается неизвестным, а предположения – бездоказательны. Внешне же Джеффри и Филиппа Чосер представляли собой “образцовую пару”, являя пример гармонии, и утверждать, что за эту видимость им наверняка пришлось заплатить любовью, доверием и привязанностью, было бы странно и опрометчиво.

Репутация опытного и умелого дипломата не мешала Чосеру слыть мастеровитым придворным поэтом. По собственным его словам, он создал “множество песен и пикантных историй”. Надо думать, что ранние эти стихотворные опусы писались по-французски, поскольку именно французский был языком двора; мы так и видим молодого Чосера выступающим перед слушателями, как на рисунке к его “Троилу и Хризеиде”, где три дамы слушают декламацию “geste”, “песни о деяниях” или истории в стихах в зале, украшенном мозаикой. До нас дошел рукописный сборник французских стихов. Пятнадцать из включенных туда произведений помечены инициалом “Ч”. Стихи эти достаточно мелодичны и свидетельствуют об известном мастерстве сочинителя, который, если признать авторство Чосера, брал тогда за образец каноны модной французской поэзии.

Вообще при дворе Эдуарда III во многих сферах властвовала французская мода. Супруга короля Филиппа была родом из французской провинции Геннегау (Эно), его мать Изабелла являлась французской принцессой. Плененный король Франции жил в Англии вольным или невольным заложником и в плену продолжал покровительствовать французскому искусству. При дворе королевы звучали и распространялись стихи Машо и Фруассара, Дешана и Гронсона. С Фруассаром Чосер познакомился, когда тот стал придворным королевы Филиппы, и существует свидетельство взаимовлияния двух этих поэтов. Мы располагаем и другими доказательствами разнообразных связей, родства кланов и родственных переплетений, присущих позднередневековому обществу. Так, отец Филиппы Чосер, Пэон де Роэт, был рыцарем в Геннегау, а супруга короля, Филиппа, как мы уже знаем, происходила из той же провинции, откуда родом был и Фруассар. Иными словами, с Францией у Чосера существовала и тесная родственная связь.

Таким образом, в начале своей поэтической карьеры Чосер сочинял жалобы и “ронделе”, баллады и послания на темы любви и страсти. Это была литература сетований и воздыханий, ограниченная рамками придворного этикета и строгими

законами fine amour[4], того, что в “Легенде о Добрых женах” Чосер назвал “искусством красивых чувствований”. Его современник Джон Гауэр свидетельствует, что уже “в расцвете юношеских лет” Чосер наводнил страну мелодиями и счастливыми созвучиями”, часть которых чудесным образом сохранилась в собраниях его сочинений. Многое из куртуазной поэзии Чосера было утрачено с естественным ходом времени и как результат небрежности, но такие его произведения, как “Моление о жалости” и “Моление к возлюбленной”, доказывают природную музыкальность чосеровского стиха и мастерство поэтического выражения. В раннем своем творчестве Чосер уже изобретает и экспериментирует. Он ввел в английскую поэзию так называемую “королевскую строфу”[5] и терцины, он первый прибег к форме французской баллады, изменив французский восьмисложник на прочно укоренившийся в английской поэзии и ставший для нее столь характерным десятисложный размер.

> И свет зажегся в некогда слепых
> Очах страдальца, что лишь муки знал…

Он стал создателем английской метрики. Но одно из достижений поэта по своему значению превосходит все прочие его технические усовершенствования. После первых штурмов французского куртуазного стиха для аудитории преимущественно придворной, он предпочел писать по-английски. Он обладал достаточной уверенностью в собственном мастерстве и достоинствах родного языка, чтобы взять в свой обиход англоговорящую музу. В этом смысле он стал провозвестником воскрешения английского языка в XIV веке. Время Чосера было периодом, когда статус родного языка повышался и английский распространялся все шире и увереннее. При жизни Чосера английский заменил собой французский в школах. Англофранцузская смесь, бытовавшая еще с периода нормандского завоевания, доминировала у знати в качестве языка общении, однако при Ричарде II двор, впервые со времен англосаксов, заговорил в основном по-английски. Вся совокупность обстоятельств способствовала тому, чтоб именно Чосер стал не только самым искусным, но и самым ярким представителем духа времени среди стихотворцев той поры.

Когда он вступал на поэтическое поприще в качестве придворного поэта, в английской литературе существовали непререкаемые поэтические образцы, начиная с романов сэра Орфео и сэра Лаунфала и кончая рифмованными наставлениями и историческими хрониками, созданными в различных

монастырях; бытовала и традиция лирическая – в литературе как светской, так и духовной, однако традиция умной и изощренной придворной поэзии, написанной по-английски, отсутствовала. Чосер усвоил стиль и приемы модного французского стиха и с легкостью перенес их в сферу английского языка и ритмов английской речи. Для молодого поэта это явилось важным достижением, что не осталось незамеченным. Юсташ Дешан, являвшийся одной из несомненных “моделей” для поэзии Чосера, несколько лет спустя послал ему “балладу”, в которой вознес хвалу молодому автору, назвав его “великим переводчиком”. Речь шла в основном о сделанном Чосером переводе “Романа о Розе”, французского аллегорического эпоса на тему любви.

> “Роман о Розе”, где я описал
> Все тонкости любовного искусства…

Первый раздел монументального произведения из четырех с лишним тысяч стихов был написан Гийомом де Лоррисом в начале

XIII века, а полвека спустя роман завершил Жан де Мён, школяр, украсив его многочисленными отступлениями и рассуждениями на самые разнообразные темы. Чосер предпочел перевести куски, принадлежащие перу первого автора. Остается неясным, выпустил ли он в свет плод своих трудов, но сохранившийся результат несет следы его остроумия и изобретательности. Со всей очевидностью перед нами предстает полотно, где он мастерски укладывает слова родного языка, приспосабливая их для избранной им формы:

> Тех, что у нас русалками зовутся,
> Сиренами французы именуют…

Он заражает нас своим искренним удовольствием, получаемым от сравнивания и смешения в языке элементов саксонских и романских:

> Великодушье было ей по нраву.
> Подобно Александру, ликовала,
> Когда могла сказать: “Бери!”

Можно смело заключить, что даже в самых ранних своих произведениях Чосер проявляет вкус и тяготение к

использованию многообразных и колоритных деталей, чем достигает большого эффекта. Его картины цветочных россыпей, симфонии из птичьих трелей и щебета изобильны и в то же время точны. В единении с пышностью и звучностью “высокого слога” качество это порождает присущую поэзии Чосера умную изощренность.

К тому же его “Роман о Розе” является первым свидетельством обновления и укрепления английского языка с помощью и посредством искусства перевода; когда впоследствии Чосера хвалили за “красноречие”, имелась в виду его счастливая способность привносить великолепие французского и итальянского стиха в собственный стиль и ритмику. Гений Чосера частично воплотился и в переводах; судя по всему, поэт находил огромную радость в чтении. Как отмечал он сам, половину пережитого он черпал из книг. Что могло быть естественнее для него, чем обдумывать прочитанное, а обдумав, неспешно воспроизводить это, переводя в ткань родного языка?

В этой связи становится понятнее некоторая сдержанность чосеровского темперамента. В его произведениях автор предстает фигурой скромной и сугубо книжной, что нередко признавалось лишь хитростью, позой, совершенно не соответствующей его подлинной сути успешного, сделавшего хорошую карьеру придворного. И все же в созданном им самим образе должна была заключаться и малая толика правды: к чему бы ему создавать подобный автопортрет, если он хоть в какой-то степени не отвечает собственным его представлениям о себе? Чосер стремится спрятаться за словами, а вернее, как личность раствориться в них. Можно также сказать, что он видел себя переводчиком кем-то уже созданного, не претендующим ни на власть над тем, что выходит из-под его пера, ни на ответственность за изображаемое. В “Кентерберийских рассказах” им избрана тактика перекладывания вины, если уместно употребить это слово, на созданных им персонажей:

> Всевышним заклинаю вас не видеть
> Дурного умысла в словах моих…
> Ведь я лишь излагаю слова других,
> И добрые, и злые…
> А выбирать не тщусь,
> Раз выбор – ваше дело.

В “Троиле и Хризеиде” он тоже прячется за вымышленным оригиналом: “Что рассказали мне, то и пишу”. Это манера истинного дипломата – вести дело так, как ему велено лицом

вышестоящим, а порою, словно бы со стороны, шутить и иронизировать. Риторика диктует повествование, ведет руку Чосера, а он получает возможность как бы независимости – отвлекаться от текста, высвобождая и уводя из произведения собственную личность. Умел ли он с такой же легкостью высвобождаться из пут придворной карьеры? В насквозь театральном мире королевского двора каждый играл определенную роль, но ценилось мастерство игры.

В июне 1367 года Эдуард III наградил Чосера годовым содержанием в размере 13 фунтов 6 шиллингов и 8 пенсов. Судя по тому, что в документах Чосер именуется попеременно то “valettus”, то “esquier”, статус его к тому времени еще не был окончательно определен. В последующие годы ему презентовали зимнее и летнее платье, а также соответствующее его рангу платье для траура. По-видимому, его ценили достаточно, чтобы посылать с поручениями за границу. Летом 1368 года ему был выдан “пропуск” в Дувре. Есть предположение, что направлялся он в Милан, где принц Лайонел (после кончины первой своей жены) сочетался браком с принцессой Виолантой Висконти. В таком случае Чосер должен был в каком-то смысле приобщиться там к культу и “славного Фрэнсиса Петрака” (Франческо Петрарки). Петрарка тогда являлся жителем Милана, впрочем, обстоятельства и подробности этого путешествия Чосера остаются неясными.

Ясно, однако, что на следующий год Чосер едет во Францию в составе свиты Джона Гонта, направлявшейся туда “в военных целях”. Роль Чосера в истории долгой прерывистой и бесплодной вражды, названной впоследствии Столетней войной, никак не выявлена. Однако известно о получении им prest, то есть платы в 10 фунтов за службу. Связь Чосера с Джоном Гонтом знаменательна, а доказательством ее служит ежегодное содержание, которого его вскоре удостоил Джон Гонт. Последний еще семью годами ранее стал герцогом Ланкастером благодаря женитьбе на Бланш Ланкастер. Эдуард III после кончины своей супруги в 1369 году стал дряхлеть и все больше передоверять свои обязанности другим, в результате чего дворец Гонта в Савойе стал центром придворной жизни Англии; влияние Гонта так возросло, что каждый желал заручиться его дружбой и покровительством. В окружение Гонта Чосера вовлекло и еще одно событие. В 1368 году, вскоре после женитьбы на Виоланте Висконти, принц Лайонель умер, власть же Эдуарда III все больше ослабевала, и Чосеру понадобился новый покровитель.

Визитной карточкой, если можно так выразиться, послужило

следующее. В 1369 году супруга Джона Гонта, Бланш Ланкастер, умерла от чумы, смерть ее пришлась на время, когда сам Гонт еще был на войне, но по возвращении в Англию он немедленно повелел каждый год отмечать ее кончину поминальной службой в соборе Святого Павла. Некоторые историки полагают, что умерла Бланш на год раньше, в 1368 году, а значит, военный поход Гонта был еще и досадным проявлением супружеского невнимания, которое, однако, никак не отразилось на реакции Чосера на ее кончину. Выразив свое соболезнование в поэме, названной “Книга герцогини”, красиво и элегантно воспев добродетели Бланш, поэт воздвиг ей памятник в певучих поэтических строках:

> Изящество в ней было неизменно,
> И равной мудрости у женщин не встречал.

Стиль поэмы заставляет думать о том, что предназначалась она для декламации, и, похоже, она действительно читалась на одной из поминальных служб в соборе. Тон поэмы весьма уважительный, но притом непринужденный, говорит о близких, хоть и не обязательно панибратских, отношениях, связывавших Чосера с Гонтом. Это произведение молодого, двадцати с небольшим лет, поэта, чей талант уже был широко признан, строится в форме видения или сна, форме, вполне отвечающей особенностям творческой манеры Чосера, всегда любившего иносказания и некоторую затуманенность смысла – сон – штуку безответственную, но там, где речь шла о “предметах высоких”, таких как горе, постигшее герцога Ланкастера, была уместна и желательна почтительная скромность.

Сама поэма принадлежит традиции французской любовной, amoureux, лирики, в частности, нашедшей воплощение у Машо в “Jugement dou Roy de Behaingne”. Вдобавок начальные строки поэмы повторяют начало “Parady dAmours” (“Рая любви”) Фруассара. Надо сказать, что во всем творческом наследии Чосера мы наблюдаем большое количество заимствований и переработок. Добрая половина его поэзии имеет источником произведения предшественников. И все же нам следует позабыть и отбросить современные воззрения на плагиат и пародийные подражания. Факт следования за признанным авторитетом для средневекового текста являлся гарантией его подлинности и ценности. Оригинальность как таковая достоинством не считалась, ценились пересказ и переформулирование старых истин. И все же “Книга герцогини” не есть прямая копия “Рая любви” или же прочих средневековых произведений, с которыми ее сравнивают. Суховатую размеренность стиха Фруассара Чосер

преобразовывает в роскошную мелодичность, скучные длинноты Машо – убирает, изящные и эффектные риторические узоры, так любимые французами, а также непосредственные лирические излияния он сокращает, заменяя сюжетностью, повествованием и прямым диалогом. Иными словами, он впитывает в себя живительную влагу французских источников и, усвоив, амальгамирует их в английское произведение. Что и создает парадоксальность его творений: материал знаком, но созданное из него поражает новизной. Как выразился он сам, новый урожай на старом поле.

Глава четвертая
Итальянские связи

Летом 1370 года Чосер получает охранные грамоты короля для путешествия “ad partes transmarinas” (в заморские земли). Эти грамоты должны были обеспечить неприкосновенность посланнику в случае каких-либо судебных преследований на время его пребывания вне Англии – мера совершенно необходимая в тот сутяжнический век, но никак не проясняющая нам цель путешествия Чосера. Обычно полагают, что отплывал он в Геную; с которой в то время Англия вела большую торговлю. Чосер всю свою жизнь общался с итальянскими купцами и негоциантами, был сведущ в импорте, пошлинах, принятии и отгрузке товаров в портах. Что могло быть естественнее, чем отправить в такой крупный порт, как Генуя, по делам торговли именно его?

К тому же, надо полагать, что он знал итальянский, так как и в последующие годы его не раз отправляли с подобными поручениями в Геную и Флоренцию. В 1372 году ему было поручено вести переговоры насчет сооружения в Англии специального порта для торговли с Генуей. В том же году в официальных документах он впервые фигурирует в качестве “armigero re gis”, то есть сквайра двора, что предполагает соответствующее повышение статуса. При этом вряд ли он являлся уже сквайром казначейства, входящим в ближний круг монарха, круг лиц, сопровождавших того повсюду, скорее его ценили как искусного дипломата и в качестве такового держали и отправляли с поручениями. Так, поездка Чосера в Геную имела и другие, более секретные, цели. Пустился в путь он в декабре 1372 года в сопровождении двух генуэзцев со слугами и телохранителями. Ему было выдано денежное содержание – 16 фунтов 13 шиллингов 4 пенса на пребывание за границей в течение примерно пяти месяцев. Для Чосера эта поездка стала первым длительным пребыванием в Италии, что оказало на него сильное воздействие.

Путешествие в разгар зимы, а особенно по маршруту, проходившему через Альпы, было и некомфортным и опасным. Мы можем вообразить себе эту картину: лошадей с тяжелой поклажей, бредущих по горным тропам, хоть и привычным для путников, но обледенелым и головокружительно крутым и обрывистым. Кутая лица в шарфы, а ноги – в тряпки, путники движутся навстречу снегу и ветру. Современник Чосера Адам

Уксский так описывает собственное альпийское путешествие “в повозке, влекомой волами, полумертвый от холода, я напрягал зрение в надежде не упустить грозивших мне со всех сторон опасностей”.

Сама же Генуя являлась центром обширной торговой империи, населенной примерно так же густо, что и тогдашний Лондон. Выстроен город был тем не менее не из дерева, а по преимуществу из камня, и в наши дни каждый гуляющий по старой части Генуи может представить себе, как выглядел город во времена Чосера: узкие извилистые улочки, низкие деревья, статуи св. Девы на перекрестках, лавки ремесленников, лотки торговцев. Переговоры о сделках, видимо, прошли удачно, так как торговый оборот между Лондоном и Генуей в годы, последовавшие за миссией Чосера, значительно увеличился, однако, судя по всему, в Геную Чосера привело дело и иного рода – ему поручили рекрутировать генуэзцев для пополнения войск Эдуарда в связи с войной с Францией. Письменных свидетельств этих секретнейших переговоров, как и следовало ожидать, не осталось.

Чосер был награжден ценными подарками, а итальянская миссия упрочила его положение при дворе.

Но поездки в Италию имели для него и другое значение, не столь явное, но более существенное.

В течение трех месяцев он испытывал на себе влияние итальянской общественной жизни и культуры; сильнее всего повлияла на него культура Флоренции – библиотеки и собрания предметов искусства, которыми владели семейства флорентийских банкиров, далеко превосходили своим богатством все то, о чем могли мечтать лондонские купцы. Это было время, когда во Флоренции расцветал “гуманизм”, хоть само слово это ничего не говорило тогда Чосеру и его современникам. Было бы крайне ошибочным думать, будто английский поэт мог вдруг ни с того ни с сего за один какой-нибудь день или вечер превратиться в поклонника и представителя “нового течения” или что один взгляд на полотна и фрески Джотто помог ему воспринять требования “реализма” в искусстве. Некоторые биографы выдвинули предположение, что во время своего путешествия Чосер встречался с Боккаччо и Петраркой. Однако это маловероятно. Да и что мог бы он им сказать при встрече?

И все же Чосер пребывал в городе, ставшем матерью и колыбелью новой итальянской поэзии, а три возлюбленных сына этого города оказали могучее и непреходящее влияние на его поэтический мир. Это были – по хронологии и по старшинству в поэтической иерархии – Данте, Петрарка и Боккаччо.

Самым крупным итальянским поэтом XIV века, несомненно, являлся Данте. Его “Божественная комедия” была написана на родном ему итальянском языке, а свое эпическое полотно о Рае и Аде он облек в пламенные строки, немедленно выдвинувшие итальянский на первое место среди европейских языков. Кроме того, им была написана и апология своего решения: в первом десятилетии XIV века – со времени начала работы над “Божественной комедией” – он создает высокоученый трактат “De Vulgari Eloquentia”, в котором защищает достоинства и выразительность родного языка. Семьдесят лет спустя, во время своего посещения Флоренции, Чосер уже мог питать надежду, что и английский способен возвыситься так же, как возвысился итальянский. Пребывание его во Флоренции еще больше укрепило в нем желание писать по-английски и сделать этот язык проводником и медиумом высокого искусства. Невозможно отрицать, что произведения, написанные Чосером по возвращении из Италии, свидетельствуют о могучем влиянии, какое имел на него пример Данте. Первая же изданная им после Италии большая поэма “Храм Славы” является почти пародийным подражанием великому итальянцу.

В период итальянских путешествий Чосера Петрарка жил в сотне миль от Флоренции – в Падуе, но слава о нем гремела по всей Италии. Петрарка был блистательным мастером, гигантом, с легкостью поднявшим статус поэта до уровня вождей и королей. Достаточно сказать, что он был увенчан лавровым венком в римском сенате и удостоен звания маэстро в Неаполе и Венеции. Неаполитанский король Роберт подарил ему дивный, обильно расшитый драгоценностями плащ как знак особого почета и своего преклонения перед поэтом. Таких знаков внимания со стороны королевских особ в Англии не удостаивался ни один сочинитель ни в то время, ни позже, но подобное превознесение заслуг Петрарки, несомненно, способствовало тому, что и Чосер стал воспринимать свое творчество не просто как занятие, но как поприще. Не имея перед глазами двойного примера Данте и Петрарки, он вряд ли посягнул бы на замысел столь масштабных произведений, как “Троил и Хризеида” и “Кентерберийские рассказы”. Созданием этих поэм он во многом обязан еще одному участнику итальянского поэтического триумвирата, также послужившему для него источником вдохновения, – Джованни Боккаччо. Троянский антураж любовной истории Троила и Хризеиды Чосер в значительной степени позаимствовал в боккаччиевском “Филострато”. Сюжетная канва “Декамерона”, где повествование ведется как бы от лица странников, послужила моделью для “Кентерберийских рассказов”, как это справедливо

указывается исследователями. Имени Боккаччо Чосер ни разу не упоминает, видимо, нюхом чувствуя, что источник столь близкий и явный лучше утаить от публики. В “Кентерберийских рассказах” действительно можно обнаружить целые куски, перенесенные туда непосредственно из Боккаччо, но влияние великого итальянца на Чосера проявилось и в другом: последнему импонировало поэтическое многообразие Боккаччо, отразившее широту его интересов – эпос “Декамерона”, классическая мифология “Фьезоланских нимф”, рассказ о Тезее под названием “Тезеида”, любовный роман “Филострато” с местом действия в Трое и латинский текст, посвященный генеалогии языческих богов “Le Icnealogiis Deorum Jentilium”. Вдобавок в период чосеровского пребывания во Флоренции Боккаччо заканчивал работу, названную им “De Casibus Virorum Illustrium” (“О знаменитых мужах”, главой из которой английский поэт воспользовался для одного из “Кентерберийских рассказов”). Примечательно также, что в это же время Боккаччо готовился выступить во Флоренции с рядом публичных лекций о Петрарке.

Таким образом, благодаря своему итальянскому опыту и впечатлениям, в Англию Боккаччо вернулся другим. Есть предположение, что с собой он привез и несколько рукописей, в числе которых была и “Божественная комедия”. Рукописи эти он якобы получил в дар от итальянских негоциантов, с которыми вел дела. Учитывая правила гостеприимства, как их понимал XIV век, такое предположение вполне обоснованно. Во всяком случае, в произведениях, которые он вскоре напишет, явственны следы внимательного чтения и изучения того, что дала ему Италия. А пока в творческие планы его, мешая выполнению задуманного, вклинивается живая жизнь. В августе 1373 года, спустя всего несколько месяцев по благополучном завершении его итальянской миссии, его отправляют в Дартмут – уладить спор между генуэзским судовладельцем и местными властями, почему-то арестовавшими его корабль. Чосера посылают с поручением вернуть судовладельцу его имущество, что он успешно и производит – еще одно неопровержимое доказательство его тесных связей с итальянскими негоциантами и искусства ведения непростых переговоров. Возможно, то обстоятельство, что шкипер из “Кентерберийских рассказов” рожден в Дартмуте, – не более чем совпадение, но забавная эта деталь дает нам возможность предполагать, что некоторые из вымышленных персонажей Чосера прямо или косвенно имеют прототипами “реальных людей”. Наверное, всякое прямое тождество персонажей со своими современниками Чосер стал бы отрицать, но общие

очертания своих характеров он различал в самой действительности.

Явный успех Чосера на этих переговорах, как и на многих других, записей о которых не сохранилось, был вознагражден подарками и денежными подношениями. Весной 1374 года Эдуард III вознаградил его получением ежедневной бутыли вина. В то время “бутылью” называли сосуд объемом в галлон, так называемый “Lagena”. Ежедневный галлон этот Чосеру выдавали до самой смерти короля. Двумя месяцами позднее возвратившийся после своих французских набегов Джон Гонт даровал поэту содержание в 10 фунтов. Есть мнение, что всех этих милостей Чосер удостоился в знак покровительства, а также поощрения его литературных трудов. Однако последнее маловероятно. Если присущее Чосеру владение словом и удостоилось тогда признания сильных мира сего, то лишь как качество, похвальное для дипломата, состоящего на службе у короля.

Глава пятая
На государственной службе

Из всех постов, на какие назначал Чосера король, главным был тот, какой был предоставлен ему 8 июня 1374 года, когда поэта, которому было едва за тридцать, король назначил инспектором, контролирующим взимание налогов и пошлин с торговли шерстью, за что ему полагалось годовое содержание в 10 фунтов с десятью марками премиальных. Обязанностью Чосера было следить за сбором всех налогов и пошлин на экспорт шерсти и кожи из Лондонского порта. За мешок шерсти в весовом эквиваленте 364 фунта взималась тогда, например, пошлина в размере 50 шиллингов. Попутно в круг его обязанностей входили и "мелкие сборы". "Мелкими сборами" считались налоги на все, кроме шерсти, – на воск, ткани, спальную мебель, а также "прочие разнообразные товары". Работа эта была отнюдь не синекурой, как то рассматривали некоторые исследователи, а делом весьма ответственным и трудоемким. Чосер отвечал за ведение "сводного списка", по которому проверялись отчеты, представленные сборщиками налогов. Этот "сводный список" должен был писать он сам, хотя записей, сделанных рукой Чосера, не сохранилось. Поскольку деятельность, связанная с наличностью и долговыми обязательствами, открывала большие возможности для коррупции, от Чосера требовались зоркость и проницательность в раскрытии всяческих денежных махинаций и сомнительных отчетов. Бумаги писались по-латыни с добавлением англо-французской лексической мешанины, что было отражением царившего в то время в английском обществе многоязычия, которое Чосер в полной мере использовал и в своей поэзии.

Сборщики налогов лично следили за поступлением товара, его взвешиванием, считали мешки с шерстью, улаживали споры, возникавшие между торговцами и таможенниками, назначали штрафы и взимали пошлины. Сам Чосер, возможно, и не проделывал всего этого лично, но, несомненно, был в должной мере осведомлен во всех этих видах деятельности. Именно ему надлежало препятствовать, например, незаконной выгрузке товара в порту. Он должен был проверять и печать королевской таможни, удостоверявшую законность погружаемой на корабль партии шерсти или кожи. В клятве, которую он произнес, он давал слово верно служить королю и неотлучно присутствовать в порту – "сам либо в лице надежного заместителя", он обязывался

отдавать собранные пошлины “saunz fauxme or fraude” (без обмана и утайки). Дело Ричарда Лайонса, богатого лондонского виноторговца, давнего друга и компаньона отца Чосера, доказывает нам, что подобное предписание не было простой формальностью или фигурой речи. В то время Лайонс ведал “мелкими сборами” и, следовательно, был одним из патронов Чосера; есть даже основания предполагать, что он мог способствовать получению выгодной должности для единственного сына своего друга. Но Лайонс был прожженным дельцом старой закваски, не упускавшим случая прикарманить казенные деньжата, и не прошло и двух лет со времени вступления Чосера в должность, как Лайонс был уличен в злоупотреблениях, смещен с поста и отправлен в тюрьму Таким образом, выполнять свои обязанности Чосеру не всегда бывало легко и приятно. Едва начав службу, он, по-видимому, отказался от помощи “надежного заместителя” и все “сводные списки” и отчеты писал собственноручно.

Жаль, конечно, что не сохранилось этих рукописных документов, которые могли бы дать ключ графологу к пониманию характера Чосера в этот период его бурной деятельности, период, когда уже получивший признание мечтательный придворный поэт вдруг очутился в среде лондонских дельцов и клерков – упрямых, вздорных, а порой и вороватых. Конечно, круг этих людей был ему знаком с самого рождения, и он должен был знать, как с ними себя вести и разговаривать. Мы можем представить себе его как человека в высшей степени доброжелательного, любезного и тактичного и в то же время умного, ловкого и проницательного. Возможно, он даже гордился своей способностью жить одновременно в двух мирах – в поэтическом мире любви и прозаическом деловом мире. Можно даже сказать, что разнообразие и разнородность поэзии Чосера имеют основой именно его способность жить как бы “между” этими двумя мирами, не принадлежа всецело ни тому, ни другому и не разделяя полностью установлений обоих. Поэту в высшей степени была свойственна ирония.

В следующей из своих поэм, написанной после вступления в должность инспектора и названной “Храм Славы”, о работе своей Чосер отзывается с категоричной определенностью:

Лишь только, подведя итог,
Ты свой дневной закончишь труд,
Не развлечения зовут
Тебя тогда и не покой, —

Нет, возвратясь к себе домой,
Глух ко всему, садишься ты
Читать до полуслепоты[6].

Нам известно о книжных занятиях Чосера и любви его к ним, но по счастливой случайности известно и где располагался его “дом”. Поэт жил над Олдгейт, одной из лондонских застав. Поселился он там, по-видимому, примерно в то же время, когда заступил на службу. Аренда была дарована ему за месяц до принятия им должности инспектора, о чем свидетельствует “Ландон леттер бук” (“Лондонские ведомости”): “…дом над воротами Олдгейт [supra portam de Algate], с покоями жилыми и погребом под оными воротами на востоке, и всем, что внутри содержится, пожизненно в пользование означенному Джеффри передать”. Следовательно, и все убранство дома было пожаловано Чосеру пожизненно и бесплатно, что, даже и по средневековым меркам, считалось ценным подарком. Дарителями числились мэр Адам де Бьюри, олдермены и “communitas civitatis Londonie” (община граждан города Лондона), однако, судя по всему, городские власти действовали по распоряжению двора или совместно с ним. Контакты и связи двора с богатым купечеством были в то время, как мы еще увидим, весьма прочными. Помещение, дарованное перспективному чиновнику, было достаточно просторным – надвратная постройка, целый этаж: помещение внутри двух башен по сторонам ворот и прямоугольное пространство между ними. В башнях было по двадцать шесть футов в длину и двенадцать в ширину, помещение же между ними имело в длину около двадцати футов, а в ширину – двенадцать. За башнями располагались еще две комнаты поменьше. Подняться в дом можно было по двум каменным лестницам с одной и с другой стороны. Окон было два – одно с видом на запад, на город, второе окно обращено было на восток и глядело сверху на пригороды и сельскую местность за городской стеной. Чосер имел доступ и к самой стене, и к тянувшемуся по ней парапету. Сооружение называлось “Олдгейт” (старые ворота) ввиду его происхождения, уходившего своим началом, как говорилось, “в незапамятные времена”. После многочисленных неприятельских набегов и штурмов стена обветшала и в XIII веке была восстановлена, а по словам любителя древностей Джона Стоу, “возведена заново” на нормандский лад, то есть укреплена бастионами, сооруженными из камня, добытого в нормандском Каене, и мелкого кирпича, называвшегося “фландрской плиткой”. Топография окружающей местности подробно описана Стоу и

другими. Это обычное для Лондона смешение ремесленных мастерских и садов, больших домов из тесаного камня и покосившихся под низкими крышами хибарок, постоялых дворов для путников, в мешанине тесных сараев и харчевен, дворов и проулков, стойл для лошадей, церквей для набожных.

Шум врывался сюда на рассвете, когда Уильям Дерхерст, привратник Олдгейта, открывал ворота. Это служило сигналом к началу торговой жизни Лондона: в город шли бесчисленные подводы и телеги, повозки и пешие торговцы с грузом птицы и яиц с окрестных ферм. За проезд каждой лошади или повозки в ворота взималась пошлина – так оплачивалась дорога, ведшая к Олдгейту. Каждое утро Чосер просыпался на своей верхотуре от шума повозок и телег, и этот шум служил постоянным аккомпанементом всем его домашним занятиям. В шум и скрип повозок вторгались крики прибывавших и отъезжавших. В нем Чосер различал и отдельные голоса – привратника Уильяма, торговцев, криком дающих знать о прибытии своего товара. Но, конечно, ворота служили и оборонительным целям. Во времена общественной напряженности ворота укреплялись железными засовами и цепями, свои посты на стенах занимала стража, а когда разразился мятеж, получивший название “крестьянского восстания”, Олдгейтские ворота тайно открыл олдермен Уильям Тонг, впуская в город мятежников. Знаменательна эта близость Чосера к важнейшим событиям в жизни города, которым он становился свидетелем, живя прямо над городскими воротами. Какие звуки слышал он тогда?

Из восточного окна, обращенного в сторону Эссекса, взору Чосера открывалась убогая картина бедного пригорода – жилища неимущих, дешевые постоялые дворы, харчевни и лавки, торговавшие всем, что могло быть нужно путникам, двигавшимся в обоих направлениях. Чосер описал это место с его “hernes” (укромными углами) в “Прологе Слуги каноника”:

> В углах укромных, тупичках…
> Где люд преступный
> Тайно обитает…

Из западного окна открывался вид на самый город. Внутри городских стен, всего в нескольких ярдах от жилища Чосера, находилось популярное место общения Олдгейт-Велл, Олдгейтский источник, вокруг которого теснились водоносы с кожаными мешками. В непосредственной близости оттуда располагались владения графа Нортумберлендского с домом и садом, а также церковь Святой Екатерины Кольман и владения

Бланш Эпплтон, рядом селились корзинщики и волочильщики проволоки. Неподалеку был монастырь Святой Троицы. Некоторые из построек, принадлежавшие монастырю, который видел и Чосер, были раскопаны во времена Стоу. К XVI веку они уже “на две сажени” ушли в землю; там была “каменная стена с каменным сводом тесаных ворот, запиравших на ночь проход на улицу”. Ворота эти, мимо которых поэт должен был проходить каждое утро, отправляясь на службу, свидетельствуют о том, как быстро строился и перестраивался Лондон уже во времена Чосера, как на руинах старых построек возводились новые. Лондон постоянно видоизменялся. Путь Чосера от Олдгейта в порт должен был пролегать по самым шумным и оживленным улицам города. Со своего возвышения над этой суетой он постоянно наблюдал и за фигурами бредущих путников – жизнь, проходящую в бесконечном странствии.

Так, над воротами, прожил он двенадцать лет, в течение которых им были написаны “Храм Славы” и “Птичий парламент”, “Рассказ Рыцаря” и “Троил и Хризеида”, поэма, содержащая упоминание о забавной детали местного колорита – криках привратника, приказывающего либо отогнать скотину от ворот, либо войти с ней в город.

Высказывалось предположение, что жизнь Чосера в тот период была не только творчески насыщенной, но и полной уюта и что в доме его над воротами, ведшими в процветающий город, доме, где поэт жил вместе со своей Филиппой, царили довольство и супружеское единение. Но это не так. Достаточно вспомнить, что Филиппа находилась на службе и обычно супруги пребывали порознь. Материально они поддерживали друг друга, как это явствует из слов Джона Гонта, подчеркнувшего, что ежегодные десять фунтов, получаемых Чосером от него, “выплачиваются также и “за верную службу доброй Филиппы, супруги его, достопочтимой госпоже и матери нашей королеве, да упокоит Господь ее душу, и услуги ее возлюбленной спутнице жизни нашей королеве [Кастильской]”.

Дело обстояло следующим образом. Вскоре после кончины Бланш, в память о которой Чосер создал свою “Книгу герцогини”, Джон Гонт женился на Констанце Кастильской. Филиппа Чосер, которая после смерти королевы Филиппы числилась при дворе Гонта, стала “прислуживать” Констанце, и в 1372 году удостоилась выплаты содержания в 10 фунтов. В последующие несколько лет она также получает от Гонта деньги и подарки. Однако она была не просто придворной на жалованье. Сестра ее, Кэтрин Суинфорд, являлась любовницей Джона Гонта и играла большую роль при дворе. Поэтому, если Филиппа Чосер всего

лишь “оказывала услуги” Констанце, услуги ее сестры были иного рода. Близость сестер не подлежит сомнению: когда Кэтрин со временем поселилась самостоятельно в Линкольншире, Филиппа и ее сын Томас Чосер последовали за ней. Это бросает новый, дополнительный, свет на жизнь королевского двора, где преданность и родственные узы были тесно связаны и переплетались. Не раз выдвигались предположения, что и у Филиппы была любовная связь с Гонтом, плодом которой явилась часть ее детей. Какова бы ни была достоверность такого предположения, ясно одно: ни собственная набожность, ни общественная мораль никак не мешали царившей тогда при дворе свободе нравов. Размышляя над свойственными Чосеру ироничностью и скептицизмом, необходимо помнить и об этом.

Чосер был прочно укоренен в реальности того времени и во всех отношениях с ней связан. Летом 1375 года он выступил “поручителем” за Джона де Ромзи, казначея из Кале, в чьем подчинении находился некогда Чосер при дворе короля. Судя по всему, Ромзи обвинили в присвоении имущества некоего лица, судимого за подстрекательство к бунту. В результате Чосеру пришлось брать личную юридическую ответственность за Ромзи перед судом казначейства, что было не так уж трудно и опасно, учитывая значительность владений Ромзи в Англии. Деталь эта весьма показательна для характеристики тогдашней общественной жизни, сплошь строившейся на взаимных услугах и благодеяниях. Позднее Чосер еще не раз оказывал подобную помощь старым друзьям, с уверенностью полагая, что и они, если понадобится, отплатят ему той же монетой.

Предпринимал он тогда и другие действия, принесшие ему выгоды и более несомненные.

В том же году, когда Чосер выступил поручителем за Ромзи, он приобрел “опекунство” над двумя наследниками из Кента. Дело это было весьма выгодным – почтенный опекун несовершеннолетнего сироты, чей покойный отец служил королю, получал законное право на управление переходившим к недорослю имуществом, Чосер стал, таким образом, распоряжаться наследством Эдмунда Стейплгейта, сына и наследника богатого кентерберийского купца. Два года спустя, молодой Стейплгейт за 104 фунта выкупил у него право владения землями вместе с разрешением на брак. Надо полагать, что к устройству выгодного брака для наследника Чосер также приложил руку.

Может показаться странным, что посторонний человек мог получить права на чью-то жизнь и имущество, чтобы

распоряжаться ими в течение ряда лет, но таков был непререкаемый и утвердившийся в средневековом обществе обычай. Через двенадцать лет после этого Стейплгейт был убит – еще один пример соседства строгой законности со вспышками яростного беззакония в тогдашней жизни.

Чосер мог в тот период считать себя человеком вполне зажиточным, так как через месяц после получения опекунства над Эдмундом Стейплгейтом он становится опекуном и Уильяма Соулса, унаследовавшего владения Беттисхенгеров и Соулсов в Кенте – еще один выгодный куш в средневековой битве жизни. То, что оба наследника были родом из Кента, важно, так как в последующие годы Чосер и сам был связан с Кентом – как член парламента и как тамошний мировой судья. Покинув Лондон, он жил в Кенте, где предположительно и написал значительную часть “Кентерберийских рассказов”. Во всяком случае, он мог уже тогда владеть там имением.

Богатство Чосера в тот период не подвергается сомнению – в самом деле, выгодная должность, жена на хорошо оплачиваемой службе, дом, отданный в пожизненную и бесплатную аренду. Описями его серебра, его ковров и гобеленов, убранства его спален и столовой или живописных полотен мы не располагаем, но в прологе его “Легенды о Добрых женах” он вскользь упоминает о том, чем владел:

> И, видит Бог, имеешь шестьдесят
> Ты книг, как старых, так и новых,
> Прекрасные рассказы содержащих.

Конечно, поэтическая строка доказательством в суде быть не может, но сама точность ее – Чосер пишет о шестидесяти книгах, хотя мог бы вместить в строку и двадцать, и тридцать, – служит доказательством личного характера такого упоминания. Поэта можно было бы заподозрить в хвастовстве, так как владеть шестьюдесятью книгами в то время означало жить в богатстве и даже роскоши. Но для Чосера книги значили совсем иное. И об этом он пишет в той же “Легенде”:

> Владея книгами, ты памятью владеешь,
> Имея к ней ключи.

Книги служили для него источником знания, хранилищем традиций, открывающих лад и смысл бытия, они несли ему удовольствие и радость. Чосер жил книгами, впитывал их, он

переделывал их, приспосабливал, использовал и переводил, он неустанно подражал им и воспроизводил куски из них в своих произведениях. Подвергшись алхимии его пера, старое становилось новым, привычное начинало играть новыми красками, как ромашки на лугу, с собиранием которых в “Легенде о Добрых женах” он сравнивает сам процесс чтения. В его творчестве искусство и природа нераздельны, ибо и то и другое суть разные стороны действительности, извечной и раз за разом рождающейся заново:

> Со старой нивы люди год от года
> Снимать способны новый урожай.

По его собственным словам, у Чосера был “ларь” для хранения некоторых из его книг. Книги тогда так ценились, что в библиотеках их к полкам прикрепляли цепями, а для чтения брали только под существенный залог. Но Чосера мы можем представить и в счастливом положении клерка из “Рассказа Мельника”:

> Он полки примостил у изголовья,
> И там, расставленные им с любовью,
> В ряду с деяньями святых отцов
> Стояли книги древних мудрецов[7].

Парадокс, конечно, заключался в том, что рукописи собственных произведений Чосера были толком подготовлены уже после его смерти: скудость указаний на их хождение при жизни поэта заставляет предполагать, что распространялась его поэзия главным образом устно.

Чосер находился на хорошо оплачиваемой правительственной службе, но это отнюдь не говорило о прочности его положения. В последние годы царствования Эдуарда III участились жалобы на кумовство и всяческие злоупотребления властей, что объяснялось общим ослаблением центральной власти. Процветали подкуп и взяточничество, придворные торговали своим влиянием. Картина обычная для царствия, клонящегося к закату. Чосера это могло бы коснуться непосредственно. В 1376 году при “Добром парламенте” палата общин под водительством впервые избранного спикером Питера де ла Мара выразила сожаление “о наличии в окружении короля дурных ответчиков и неверных слуг, чьей заботой более не является процветание его и государства”. Среди этих негодяев

были названы Элис Перрерс и Ричард Лайонс, оба тесно связанные с Чосером. Особенному осуждению подвергся Лайонс: его обвинили в использовании служебного положения главного сборщика мелких податей и вымогательстве. Перрерс покинула двор, а Лайонс был заключен в тюрьму на неопределенный срок. Было бы вполне логично, если б в этот период борьбы с коррупцией пострадал и Чосер. В конце концов, он был другом Лайонса и его коллегой. Однако Чосер уцелел.

Возможно, его не сочли фигурой столь значительной и достойной публичного осуждения. Парламентарии сосредоточили свое внимание на основных виновниках того, что было ими признано “злостным заговором”. Приплетать к нему Чосера и прочих его современников значило бы ослаблять мощь обвинения и уводить его в сторону. Не исключено также, что Джон Гонт, ставший ввиду утраты королем былой власти главной фигурой в государстве, простер над Чосером щит своей благосклонности. Во всяком случае, силы Гонта хватило, чтобы позднее в том же году отменить решения “Доброго парламента”, арестовав или же, так или иначе, отстранив от дел главных его членов. Питер де ла Мар, например, был подвергнут тюремному заключению. Тем не менее Чосеру это послужило хорошим уроком, напомнив, что милость сильных мира сего не всегда благотворна.

Но тем не менее он оставался всецело занятым службой. В последнюю декабрьскую неделю 1376 года его отправили с тайной миссией по поручению государя – “in secretis negociis domini regis”, но характер и цель этой миссии нам неизвестны. Возможно, это было связано с заключением в Ноттингем-Касл Питера де ла Мара, а может быть, Чосер занимался устройством брака юного наследника Ричарда с французской принцессой. Последнее вполне вероятно, так как в поездке ему сопутствовал брат Ричардова воспитателя, но ясности тут мы не наблюдаем. Единственное, что можно утверждать определенно, – Чосер был тогда вовлечен в самые неотложные дела короны. Он не являлся поэтом, время от времени выступавшим в роли дипломата и государственного деятеля. Он был государственным деятелем и дипломатом, время от времени отдававшим свой досуг поэзии.

В последовавшие за тем несколько месяцев он не менее четырех раз предпринимал поездки во Францию по делам. Он был так занят, что весной 1377 года ему было разрешено поручить свои обязанности в Лондонском порту своему заместителю Томасу Ивсхему, “sepius in obsequio nostro in partibus remotis occupatus”, то есть ввиду его занятий делами короля за рубежом. В чем заключались эти занятия, также неясно; первое место, куда он направился, был Париж, далее – неизвестно. Вполне возможно,

что цель поездок была опять-таки связана с предполагавшимся союзом юного Ричарда с французской королевской династией. И союз этот переставал быть гипотетическим. Двадцать первого июня 1377 года, по словам Фруассара, “достославный и благородный король Эдуард III отошел в мир иной, к великой скорби своих английских подданных”. Назревали перемены.

Глава шестая
При дворе короля-ребенка

Перемена правителя, однако, впрямую не затронула Чосера. Молодой король Ричард II был внуком Эдуарда III и сыном умершего в 1376 году Черного Принца. На английский престол он взошел, когда ему было всего одиннадцать лет, и до его вступления в возраст делами королевства заправлял в основном Джон Гонт. Официальным регентом Гонта не провозглашали, но тем не менее правил он. За свое положение в качестве инспектора таможенных сборов на торговлю шерстью Чосер мог быть спокоен, во всяком случае на следующий же день после кончины Эдуарда III Чосер был заново назначен на свой пост – пустая формальность, обычная при передаче власти в королевстве, но формальность все же обнадеживающая. Усиление Гонта, надо думать, было выгодно и всей семье Чосера. Его жена и сын служили при дворе Гонта, свояченица же Чосера, Кэтрин Суинфорд, была и вовсе на особом положении как любовница Гонта, пользовавшаяся огромным влиянием.

Со сторонниками и свитскими молодого короля Чосер также был коротко знаком; он хорошо знал гофмейстера двора Роберта де Вера и его помощника Саймона де Берли, в свое время не раз содействовавшего Чосеру в его продвижении по служебной лестнице. Знал он и богатых купцов, субсидировавших короля, в том числе Николаса Брембра и Джона Хенди, как знал и лордов-рыцарей из окружения Ричарда-Джона Кланвоу, Ричарда Стери, Льюиса Клиффорда, Уильямса Невила и Филипа Лаваша; последнему Чосер адресовал одно из самых примечательных своих стихотворений – “Истина”. Все эти друзья-приятели постоянно контактируют с ним на его общественном поприще – таможенной службе и в различного рода свидетельских выступлениях и поручительствах. Большинство этих Ричардовых вельмож служили еще при дворе Эдуарда в тот период, когда и Чосер подвизался там в качестве сквайра; среди них он рос в чинах и поднимался по служебной лестнице. Словом, имея такие связи, Чосер был неплохо вооружен и защищен от штормов политических междоусобиц, сотрясавших королевство в последующие годы.

Однако вельможи эти были связаны с Чосером и по другой линии. Лорд Клиффорд, например, доставил Чосеру большое удовольствие, привезя ему поэму Юсташа Дешана, в которой французский поэт прославлял английского собрата как “великого

знатока и переводчика произведений французской культуры". Джон Кланвоу также являлся сочинителем – писал стихи и стал автором неопубликованного религиозного трактата под названием "Два пути". Оба вельможи, по-видимому, принадлежали к постоянным слушателям чосеровских произведений.

Не следует забывать и еще об одном обстоятельстве, касающемся расширяющегося круга знакомств Чосера и людей, службой или личной приязнью с ним связанных. Многих из них подозревали в реформистских симпатиях. Из исторических хроник того времени и отдельных ссылок и упоминании становится ясно, что они сочувствовали идеям последователей Уиклифа, лоллардам, намеревавшимся очистить Церковь от излишнего ее обмирщвления. Из чего не следует, будто лорды-рыцари являлись радикальными реформистами, отрицавшими идею пресуществления или таинство исповеди. Вернее будет сказать, что этих умных и интеллектуально продвинутых людей сокрушало зрелище коррупции Церкви и упадка христианской веры. Напомним также, что Джон Гонт поддерживал Уиклифа в его конфликте с церковными властями. Существовал целый круг связанных друг с другом богатых и влиятельных придворных, открыто противившихся претензиям князей Церкви на власть и богатство.

Не подлежит сомнению, что цели эти были близки и Чосеру. Внешне Чосер был крайне набожен. На одном из рисунков он изображен с четками в руках. В раннем своем стихотворении "Азбука", в рукописях именуемом "Молитвой Богородице", он воспевает добродетели Святой Девы, однако стихотворение это является буквальным переложением французского оригинала и может рассматриваться всего лишь как пример стихотворного экспериментирования.

Хотя сомневаться в искренности чувств поэта тут не приходится, но сочинялось стихотворение и в качестве дани общепринятым взглядам (а возможно, и с желанием придать респектабельности своей персоне в глазах общества), и как попытка набрать лишних очков во внутренних своих борениях за спасение души. Он составил также и жизнеописание святой Цецилии, позднее использовав его в "Кентерберийских рассказах" в "Рассказе Второй монахини", однако рассказ этот не столько полон набожности, сколько изобилует сверхъестественным, что сближает его со старинными "gestes", "песнями о деяниях".

В "Кентерберийских рассказах" набожность Чосера проявилась по-другому. Широко известно, что оканчиваются они "Рассказом Священника", своего рода покаянной проповедью с

финальным отречением Чосера от всего вышесказанного. Он порицает свои “греховные” создания, к которым причисляет многие из “Кентерберийских рассказов”, а также “Троила и Хризеиду”, и рекомендует читателю лишь литературу, “согласную с учением веры нашей”. В этом можно усмотреть обычное для средневекового автора настроение раскаяния на пороге смерти, но можно разглядеть и выражение искренней веры. Значительная часть текста “Кентерберийских рассказов” откровенно христианская по духу и теме, а в своеобразном словесном состязании паломников участвуют и протагонисты-клирики. Но именно здесь и возникает вопрос о “лоллардовских” мотивах, так как в “Кентерберийских рассказах” представители Церкви изображены в красках, открыто или подспудно сатирических. Настоятельница глупа и склонна к сибаритству, пристав церковного суда – нелеп и вороват, продавец индульгенций – изнежен и лицемерен, монах – суетен и жаден, а кармелит, по словам Чосера, – “гуляка и распутник”. Один священник вызывает у Чосера одобрение, и его же, что знаменательно, трактирщик подозревает в симпатиях к “лоллардам”! По-видимому, Чосер намекает здесь на то, что если и впрямь мы желаем повсеместного восстановления благодатной чистоты веры, то к идеям религиозного реформаторства следует отнестись со всей серьезностью. Конечно, заявить так прямо он бы не мог – по самой природе его и складу характера ему было чуждо выражение личных мнений. В отличие от своего современника Уильяма Ленгленда он никогда не позволял себе страстных обличений. Но общий тон его произведения ясен – он солидаризируется с теми из своих коллег-придворных, кто считал необходимым полное обновление церковной практики. Что, однако, не делает Чосера лоллардом или последователем Уиклифа. У нас нет доказательств того, что он стремился сокрушить устои Церкви или подвергал сомнению ее обряды. Лолларды, к слову сказать, считали бессмыслицей любые паломничества, и в особенности паломничества к месту упокоения святого, презрительно именовавшегося ими Фомой Кентердурийским; делать сюжетом своего произведения именно такое паломничество единомышленник лоллардов вряд ли бы стал. Но взгляды наиболее просвещенных людей своего времени Чосер, похоже, все-таки разделял.

Восшествие на престол нового короля карьеру Чосера как дипломата фактически не затронуло. Весной 1378-го, например, он был послан в Ломбардию “lexploit de notre querre” (в связи с ходом нашей военной кампании). Имеется в виду война с

Францией, вспыхнувшая после смерти Эдуарда в результате набегов французов на порты Ла-Манша. Ответные действия Англии, начавшиеся в год Чосерова посольства, оказались неубедительными и ко времени его отправки в Ломбардию были отражены. В Ломбардию Чосер ехал в поисках союзников. Его сопровождала свита из шести чиновников, а также телохранители. У главного переговорщика сэра Эдварда де Беркли свитских было вдвое больше. Темой переговоров должна была стать военная и денежная помощь. Ходатайствовали в основном перед Барнабо Висконти, герцогом Миланским, и английским командующим наемников сэром Джоном Хоквудом. Так как миссия предполагалась длительной и должна была занять месяцев пять, Чосер поручил свои таможенные дела заместителю, а своего друга поэта Джона Гауэра попросил защищать его в судейских тяжбах. Кажется, уже в этот ранний период перед ним маячила перспектива судебного преследования за “raptus”, то есть изнасилование некой Сесилии Чампейн. Можно только предполагать, какие тревоги терзали тогда сердце Чосера.

Однако репутация его тогда, видимо, не очень пострадала, если его сочли достойным вести переговоры с человеком, общепризнанным как самый отъявленный тиран. Такую его характеристику подтверждает и сам Чосер, в “Рассказе Монаха” он так отзывается о Висконти:

> Милана славный государь,
> Варнава Висконти, бог разгула без препон
> И бич страны![8]

“В Легенде о Добрых женах” он обращает просьбу к богу любви не судить подданного его, Джеффри Чосера, слишком строго и быть к нему милостивым. Не таким, как бессердечные ломбардские тираны.

Итак, Милан виделся Чосеру тигриным логовом. Наемник сэр Джон Хоквуд являлся зятем Висконти, и сила правителей этой столицы Северной Италии дополнялась жестокостью и склонностью к насилию. Со всем этим и предполагалось как-то управиться Чосеру на переговорах.

В Италии миссию ожидало и еще одно серьезное дело. Двадцать седьмого марта 1378 года, за два месяца до отбытия туда Чосера, скончался папа Григорий XI. Под угрозой народных волнений кардинальский конклав избрал преемником папского престола Урбана VI: пресытившись навязанным владычеством авиньонских пап, римская толпа требовала в папы римлянина или хотя бы итальянца. Конклав, собравшийся, как думали, втайне,

принял свое решение, из страха перед толпой, громившей Ватикан, но яростное желание не всегда гарантирует благоприятный исход, в чем Чосер мог убедиться и на личном примере. Ко времени прибытия Чосера в Милан понтификат Урбана VI уже проявил свой губительный характер. Поговаривали, что внезапное возвышение повредило рассудок папы: он ополчался на кардиналов, донимал их, а однажды его пришлось держать, чтоб он не набросился на князя Церкви с кулаками. Прибывших в Рим, чтобы выразить ему почтение, епископов он ругательски ругал за оставленную ими без попечения паству. Принесенные в дар Святому Престолу деньги, он с негодованием швырял своему казначею, крича: “Забери себе и подавись ими!” Так мог бы вести себя на престоле святого Петра какой-нибудь лоллард. В августе того же года, когда Чосер еще находился в Милане, кардиналы бежали из Рима и в относительной безопасности Неаполитанского королевства, публично объявив решение свое недействительным, выбрали папой Климента VII. Начался великий раскол, имевший серьезные последствия для политической и религиозной жизни Европы, осложнивший историческую ситуацию на целые сорок пять лет.

В этот период полной нестабильности Чосер находился в самом центре событий. Избрание двух пап, имевших разное подданство, угрожало межгосударственным отношениям всех стран Европы. Казалось бы, миланский герцог Висконти должен был поддержать папу Урбана, но в век междоусобиц и хитроумных интриг за чью-либо верность или преданность ручаться трудно. Многое зависело также и от позиции сэра Джона Хоквуда, командовавшего значительной армией наемников, – его решение способно было изменить расклад сил и тем самым повлиять на ситуацию. Нам неизвестно, как повел себя в данной истории Чосер, но надо думать, он в полной мере проявил здесь присущие ему дипломатическое мастерство и юмор.

Переговорам о войне и мире, имевшим место в Милане, сопутствовали и другие, касавшиеся материи еще более тонкой. Новокоронованному Ричарду II требовалась достойная и подходящая супруга. Родилась идея женить его на дочери Барнабо Висконти, Катерине. Такой союз сулил английскому королю и денежные выгоды, и получение военной поддержки. Факт явной успешности переговоров доказывает возвращение Чосера в Англию осенью того же года. Вместе с ним в страну прибыли два миланских посланника, привезшие как предложение брака, так и богатое приданое.

Милан обладал и другими сокровищами, которые можно было вывезти оттуда. В обширном дворцовом покое, где Чосер

должен был впервые встретиться с Висконти, происходившее освещали своим особым светом фрески Джотто. Крестным сына Висконти был Петрарка, а двор Барнабо славился по всей Италии присутствием там литературных величин первого ряда. Сравниться с ним мог только двор брата Барнабо, Галеаццо Висконти, правившего в Павии и покровительствовавшего Петрарке. Как и многие тираны, эти братья в характере своем сочетали жестокость и любовь к прекрасному. В особенности справедливо это по отношению к Барнабо Висконти, чья библиотека, по общему мнению, была самой крупной в стране. Она включала в себя четыре с лишним сотни томов – настоящая сокровищница итальянской литературы, содержавшая наряду с произведениями Петрарки и Боккаччо, и дантовскую "Божественную комедию". Уже не раз отмечалось, что неоспоримые следы влияния Боккаччо в творчестве Чосера обнаруживаются лишь после пребывания поэта в Милане. Начиная с этого времени собственные произведения Чосера пропитываются духом Боккаччо. Конечно, у Чосера была возможность ознакомиться с рукописями Боккаччо еще будучи в Милане, но, учитывая занятость его дипломатическими делами, вряд ли стоит предполагать наличие у него времени для сколько-нибудь сосредоточенного и длительного их изучения. Более вероятно, что Висконти в награду за отличное выполнение Чосером его дипломатического задания, а также обязанностей свата подарил ему несколько рукописей. "Рассказ Рыцаря" местами является точным переводом боккаччиевского оригинала – "Тезенды". Сходство настолько явно, а прямые заимствования из Боккаччо настолько часты, что воспроизведенными по памяти быть не могли. Чосер должен был иметь перед глазами тексты Боккаччо и прорабатывать их – строку за строкой, стих за стихом. Так как добыть итальянские рукописи в Лондоне и даже в Париже он бы не смог, остается предположить, что поэт вез их через Европу как дар Барнабо Висконти. Так итальянский диктатор изменил процесс развития английской литературы.

Первым плодом этого невероятного союза становится "Храм Славы", комическая поэма из двух с лишним тысяч строк, последняя из которых неожиданный резкий выпад: "Но внешне пользовался он авторитетом".

В действительности все содержание поэмы опровергает само понятие авторитета, Чосер смеется над ним и его вышучивает, напоминая об изменчивости фортуны и склонности людей превозносить ложных кумиров. На государственной службе он не раз имел случай убедиться в "хрупкости" авторитетов и

неустойчивости людского мнения. Поэма насквозь иронична. Она написана старым английским восьмисложным стихом, традиционно использовавшимся в юмористических произведениях:

О вере и о браке,
Причудах ревности, рассудке и безумьи…

Это вольный, живой поток английского просторечья, нацеленный на вышучиванье всякого чванства и помпезной пышности и красивости. Чосер отваживается даже и на самоосуждение, распространяя излюбленную свою иронию и на самого себя.

Поэма начинается с видения, а вернее, с рассуждения о природе сновидчества. Обычно спорят о том, заимствовал ли поэт форму видения у французских авторов, в частности у Гийома де Лорриса с его “Романом о Розе”, что наиболее очевидно. Но не следует забывать, что сны и видения составляют существенную сторону и английского творческого воображения – это и “Видение о Петре Пахаре” современника Чосера Уильяма Ленгленда, и Кедмон, чье первое стихотворное произведение на английском языке предваряет видение. Создания Джона Беньяна и Льюиса Кэрролла испещрены снами. Чосер не только европеец, он плоть от плоти Англии, и “английскость” поэтического выражения – источник его силы.

“В десятый день декабрьский” сон переносит Чосера в храм из стекла, полный странных статуй и полотен. Стену украшает картина, посвященная падению Трои с изображением трагической любви Дидоны к Энею – эта знаменитейшая в Средневековье любовная история удостоена чести находиться в храме, посвященном Венере. Поэт покидает храм и, очутившись в бескрайней пустыне, взывает ко Христу, моля избавить его от призраков и иллюзий. Но, когда он обращает свой взор к небесам, на него обрушивается реальность во всей своей ощутимой телесности; реальность эта предстает ему в идее орла, гигантской птицы:

Сияла золотом она,
Виденьем из невиданного сна,
И золото ее глаза слепило,
Как будто небо невзначай зажгло
Второе яркое светило
И к нам полет видение вершило.

Орел мог прилететь из дантовского “Чистилища”, где в девятой песни он появляется, “сверкая златом оперенья”, и, выхватывая поэта из долины скорбей, уносит в огненную сферу. Подобное сходство побудило Джона Лидгейта, поэта XV века, объявить Чосера “английским

Данте”, но сразу же после появления в поэме орла Чосер так обращается к читателям:

> Теперь пусть внемлет каждый,
> Кто речь английскую способен понимать.

Нет, он не английский Данте. Не быть ему им. Чосер так же не может подражать Данте, как не может воспарить, когтимый достославной птицей. Вот почему орел в его поэме не наделенный даром предвидения символ умосозерцания, а велеречивый и высокомерный зануда, чьи речи в ушах навязли читателям Чосера. Его голосом могли бы вещать Джон Гауэр, или Ральф Строуд, или кто-нибудь другой из придворных. Истина заключается в том, что Чосер просто не способен долгое время сохранять серьезность и торжественность, соблюдать “высокий стиль”; присущий ему комический дар, подспудное чувство комического постоянно дает о себе знать, врываясь в ткань стиха. Орел завладевает поэтом и, летя с ним по воздуху, рассуждает о природе звука, о составе “Млечного Пути” и достоинствах поэзии Чосера. В этой изысканно-литературной и ученой поэме высмеивается всякая литературщина и напускная ученость. Английское воображение чурается высокопарности, издевается над “высоким слогом” и пародирует его, что позволяет Чосеру подтрунивать и над собственным творчеством, рисуя себя каким-то неотесанным мужланом, делающим робкие и неуклюжие попытки воспеть любовь:

> Из кожи лезет петь хвалу
> Той, что осталась недоступна.

Когда болтливая птица отпускает поэта, он оказывается на скале, покрытой коркой льда, в котором вырублены имена многих прославленных мужей и жен – некоторые из них подтаяли и неразличимы, другие же четко выделяются в зависимости от того, падают или нет на них солнечные лучи. Все же вместе они составляют нравоучительную аллегорию на тему прихотливой изменчивости славы. Затем перед Чосером предстает замок из берила, населенный образами, созданными поэтами,

рассказчиками и музыкантами. Он мог бы зваться дворцом искусств, если б с этими прославленными созданиями не соседствовали иллюзии – порождения различных “магов” и “фокусников”. Стало быть, искусство сопряжено с волшебством и так же иллюзорно, как и изменчивая слава этих фигляров и скоморохов. Один из фокусников в поэме упомянут как “ловкач Колле”:

> Я видел сам, как мельницу упрятал
> Он под скорлупку грецкого ореха…

Имеется в виду реальное лицо, некий существовавший в действительности фокусник по имени Колин, выступавший перед публикой. Из текста поэмы явствует, что на одном из его представлений Чосер присутствовал. Деталь эта характерна для поэта, любившего время от времени включать в вымышленный контекст кусочек реальности, как бы разрушая этим созданную искусством иллюзию. Фокус Колина – реальная мельница внутри ореховой скорлупки – тоже становится аллегорией искусства, заключающего в себя целый мир и переносящего реальность в сферу воображения – сильный, запоминающийся образ, углубляющий содержание поэмы, тема которой – природа искусства. Следует подчеркнуть также, что в замке Чосера собраны не поэты, а их прославленные творения. В этом смысле Чосер разделяет средневековое убеждение в том, что ценность представляют скорее произведения, нежели их творцы. Здесь корень свойственной ему ироничности и склонности к самоумалению и сокрытию своей личности.

Посередь замка восседает и сама “благороднейшая леди Слава”, раздающая свои милости домогающимся ее благосклонности просителям, причем делает она это без всякого понятия о справедливости. Среди просителей есть те, кому за добрые дела заплачено лишь дурной славой, другие прозябают в безвестности. Все это лишь лотерея и шутовство. Чосер хорошо понимал, что есть слава, будучи близко знаком с многими прославленными людьми эпохи. Не исключено, что его иронию подпитывали и наблюдения над судьбами окружающих.

Но в представлениях его о славе имеется и другой аспект. В поэме, видимо, написанной в 1378 году по возвращении Чосера из Италии, прямо подчеркивается связь с творчеством Данте, но, что более важно, в ней можно усмотреть реакцию на отношение к славе, преобладавшее в Милане и в Павии и буквально пронизывавшее собой всю итальянскую культуру, являясь как бы ее магнитом и движущей силой. Славу превознес Данте и воспел

Петрарка.

Однако Чосер склонен, по-видимому, в этом вопросе к некоторой ироничности, и взгляд его более трезв и безиллюзорен. Когда кто-то из толпы увивающихся вокруг Славы людей спрашивает Чосера, станет ли и он ее домогаться, тот твердо и прямо отвечает на вопрос отрицательно:

Нет, не влечет такая честь,
Достаточно того, что есть,
И впредь я захочу едва ли,
Чтоб после смерти всуе поминали.

Поэту не нужно, чтоб имя его разнеслось на ветрах славы. Он лучше всех знает, кто он, знает себе цену, но знает и свое место, и пределы своих возможностей. Можно сказать, что “Храм Славы” – поэма во многом автобиографическая, в ней Чосер упрямо отстаивает свою индивидуальность и независимость от итальянских и французских императивов.

Но в то же время он предается размышлениям о природе поэзии и месте ее в мире. Если видение Чосера и впрямь, как полагают, есть путешествие в страну воображения, путешествует он в глубь своей души, занятой непрестанным спором с самим собой о поэзии, назначении и славе поэта. В чертогах славы поэт видит постамент из разных металлов, на которых высятся статуи великих писателей древности, столпов цивилизации, составляющих ее славу: прославленный евреями Иосиф, Стаций, воплотивший славу Фив в своей “Фиваиде”, слава Греции – Гомер. Сможет ли Чосер, встав с ними в ряд, прославить Англию? Но здесь же Чосер отрицает подобную возможность, ссылаясь на бедность своего стиля:

Поэзия здесь явлена была бы,
Когда б не бедный и убогий мой язык.

Парадоксальность такого несоответствия становится источником как юмора, так и раздумий. Комичны неуклюжая застенчивость поэта и его граничащая с самоуничижением неуверенность в себе наряду с намеренной пародийностью, высмеиванием высокопарного “высокого стиля” и многословия. “Я не тщусь, – пишет он, – явить искусство, смысл – моя задача”. Его не привлекают литературные изыски, он хочет донести мысль. Это голос натуры прагматической, практической, эхом отзывавшийся в английской прозе и поэзии на протяжении

столетий. И этот голос говорит по-английски, что и сделало Чосера одним из первых представителей национальной английской литературы, создателем ее языка и выразителем английского духа. “Отцом английской поэзии” Чосера называли так часто и так много писали на эту тему, что определение это стало почти банальностью, общим местом всех исследований, но поэт не только родоначальник английской поэзии, он воплощает собой много большее, что и дает возможность таким писателям, как, например, Честертон, прозревать в его фигуре образ Англии, в лице же его – лицо Альбиона. Это улыбающееся, добродушное лицо, лицо человека действия, обратившегося к поэзии и скромно отрицающего свои поэтические заслуги, вечно уходящего в тень, но оставляющего после себя дуновение добродушного юмора. Другая такая же фигура это, конечно, Шекспир, своего рода икона английской нации.

Оканчивается поэма видением “Дома Дедала” – гигантского сооружения, как бы балагана из прутьев. Сооружение медленно вращается, выпуская из себя круговерть и сутолоку мнений, оценок, репутаций. Это китайская шкатулка или, лучше сказать, корзина, полная неясных шепотов и слухов, отражений “вражды и дружб, сближений и союзов”. Это и мир Чосера – мир придворный и деловой, мир, где царят ложь и поражение, где все вкривь и вкось; это видение обезумевшего мира, где рассказчик сбился с пути и потерян. Многие критики считали поэму свидетельством Чосеровой депрессии в период, когда он чувствовал неуверенность в себе и в том, что он делает и должен делать. Ведь он был дипломатом и чиновником, и служба, так или иначе, мешала его творчеству, ограничивая его возможности. Из Италии он привез рукописи Боккаччо, но не видел способа потягаться с мастером, не знал, как достигнуть уверенности и мастерства этого щедрого таланта.

Собственные его успехи на ниве общественного служения оказались шатки и ненадежны. Знаменательна упоминаемая им дата “10 дня декабря” в начале поэмы, дата, которую он, видимо, считал для себя важной, неким рубежом. Несколькими строками выше проскальзывает “паломничество в две мили в Леонард”; в двух милях от его обиталища располагался Стрэтфорд-ле-Боу с находившимся там монастырем Святого Леонарда. Позднее Чосер одну из героинь своих “Кентерберийских рассказов” сделал настоятельницей именно этого монастыря. Дата 10 декабря 1379 года не случайна: в этот день три посланца Ватикана смогли счесть себя вознагражденными за все превратности путешествия в Англию, ибо миссия их с целью просватать за Ричарда II дочь императора Священной Римской империи Анну Богемскую

оказалась успешной. Таким образом, брак Ричарда с Катериной Висконти, на организацию которого Чосер убил столько месяцев и потратил столько сил, не состоялся: государственные интересы потребовали иного решения.

Детали и обстоятельства дипломатической службы Чосера прямо или косвенно включены в ткань поэмы. Уже отмечено, что топография “Храма Славы” – дворец, обледенелая скала, сооружение из прутьев – навеяна впечатлениями от пребывания на Иль-де-ля-Ситэ в Париже – зала ратуши со столбами колонн, от стеклянной галереи со скульптурами, от гула голосов на торжище. С крыши длинной галереи там свешивалась когтистая лапа хищной птицы. Все это видел Чосер в 1377 году, когда был отправлен туда по делам другого Ричардова сватовства. Все смешалось в его комической поэме об изменчивости фортуны и ее обескураживающей непредсказуемости. Но как ореховая скорлупка в руках фокусника, поэма эта вмещает в себя всю ширь окружающего мира. В корзине из прутьев заключены шкиперы, паломники, продавцы индульгенций, и не эти ли персонажи в будущем своем паломничестве обеспечили Чосеру путь в бессмертие?

Глава седьмая
Клубок неприятностей

Даже дипломату на службе у короля трудно было избежать наскоков со стороны средневековой судебной системы. Осенью 1379 года Чосеру пришлось нанять себе адвоката Стивена Фолла для того, чтобы защищаться перед Судом королевской скамьи в деле об “оскорблении и правонарушении” по иску некоего Томаса Стондона, личности, чьи обстоятельства жизни бесследно поглотило время. В чем состояли претензии истца, также остается неясным, но, учитывая, что дело должен был рассматривать Суд королевской скамьи, надо думать, претензии были серьезными. Дальнейший ход событий указывает на улаживание тяжбы “во внесудебном порядке”. Обращения в суд в то время были распространен-иейшим явлением. В период судебных сессий различные суды рассматривали обычно более 1000 исков. Даже самые высокопоставленные лица ранга Чосера не могли надеяться, что нарушение закона сойдет им с рук.

Но было возбуждено и еще одно дело, грозившее более серьезными последствиями. Первого мая 1380 года Сесилия Шампейн, названная в документах канцлерского отдела Высокого суда Сесилией Чомпейн, отозвала свой иск против Чосера, прекратив его преследование по делу “de raptu meo”, то есть “об изнасиловании меня”. Видимо, следует предположить, что и это дело было улажено полюбовно, “внесудебным порядком”.

Обвинение в изнасиловании являлось очень серьезным; до начала XIV века наказанием за подобное деяние служила кастрация, во времена Чосера замененная “простым повешением”. Такое преступление к тому же было редкостью – число подобных дел в суде в общей сложности не превышало двух процентов от всех рассматриваемых там уголовных преступлений. Серьезность обвинения, по-видимому, заставила Чосера привлечь в качестве свидетелей влиятельнейших людей эпохи, что и зафиксировано документально: в частности, гофмейстера королевского двора Уильяма Бошампа, сэра Джона Кленву и сэра Уильяма Невила, камергеров его королевского величества и хороших знакомых Чосера, а также его непосредственное начальство по таможенным сборам – Джона Филипота. За два года до описываемого события Филипот был избран лордом-мэром Лондона. Такие свидетельства, внушительные для любого суда, служат доказательством прочных общественных связей Чосера. Он не был ироническим наблюдателем со стороны, а находился в самом

центре придворной и общественной жизни, средоточии власти, и все его влиятельные знакомые готовы были свидетельствовать в его пользу, с тем чтобы прекратить преследование. Заступничество их, видимо, оказалось успешным, так как Сесилия Шампейн иск отозвала. Полный и неоспоримый свод документов, касающихся Чосера, собранных в “Материалах к биографии Чосера”, содержит еще три документальных свидетельства “отставления претензий” Сесилии Шампейн к Чосеру. Два месяца спустя на суде лорда-мэра и олдерменов Лондона Ричард Гудчайлд и Джон Гроув освобождают Чосера от всякой судебной ответственности. Оба – уважаемые горожане и видные купцы: Гудчайлд является торговцем ножевыми изделиями, Гроув – оружейник. В тот же день Сесилия Шампейн освобождает от подобной же ответственности перед законом Гудчайлда и Гроува, а четыре дня спустя в том же самом суде Гроув признает, что должен Сесилии Шампейн довольно существенную сумму в десять фунтов. В общем, история темная и запутанная.

Средневековые суды оставили Чосера в покое и больше его не преследовали, и, прежде чем на века ославить Чосера, заподозрив в нем насильника, следует все же внимательнее отнестись к формулировке официального документа. Защитники поэта высказали предположение, что слово “raptus” в нем не обязательно означает “насилие” в прямом его смысле, то есть “изнасилование”, а может значить “насильственное похищение” – практика в то время достаточно распространенная. В таком случае, правда, в документе встречались бы такие слова, как “abduxit”[9] или “asportavit”[10], которые там отсутствуют. С другой стороны, если бы под “raptus” подразумевалось “насилие” в современном смысле, в документе использовались бы и такие слова, как “violavit”[11] или “defloravit”[12]. Обычной фразой для описания подобной ситуации была бы и “afforciavit contra voluntatem”[13]. Подобных слов и выражений в документе также нет. Что же в таком случае означает это “raptus”?

Моральная и общественная двусмысленность положения усугубляется дружбой Чосера с Элис Перрерс, которая после смерти королевы Филиппы являлась официальной любовницей короля Эдуарда III. Эту даму, влиятельную как при дворе, так и вообще в Лондоне, историки рисуют женщиной алчной и бессовестной, которая попеременно то льстила больному королю, то угрожала ему и его компрометировала. Но одно обстоятельство извиняет ее – близкое знакомство с Чосером.

В течение десяти лет Перрерс являлась камер-фрейлиной королевы. Жена Чосера Филиппа также служила при дворе

королевы. Благодаря своему замужеству Элис Перрерс вошла в круг богатых лондонских горожан. Близким другом ее был Ричард Лайонс, давний друг отца Чосера и непосредственный начальник поэта как сборщика мелких податей. Приятельствовала она и с Адамом де Бьюри, мэром, предоставившим Чосеру бесплатную квартиру в Олдгейте. Сама она также имела неплохую недвижимость в Олдгейте. В тогдашней повседневности, как мы это наблюдаем, вообще большую роль играли контакты и дружба в том виде, в каком их понимало Средневековье.

В данном случае нас интересуют отношения, связывавшие Чосера и Элис Перрерс, отношения, характер которых время и людская забывчивость делают не совсем ясными. В глазах общества, в котором он жил и действовал, Чосер оказался скомпрометированным. При этом Сесилия Шампейн приходилась падчерицей Элис Перрерс. Словом, как говорится, сам черт не разберется, или сплошная путаница. Мы можем предположить, что с Шампейн Чосер был хорошо знаком через Элис Перрерс. Ему было под сорок, Сесилии – чуть за двадцать и никак не больше.

На этом предположения заканчиваются, и наступает черед домыслов. Жена Чосера, служившая при вечно странствовавшем дворе, часто отсутствовала, и отношения Чосера с Сесилией могли упрочиться и перерасти в нечто большее, нежели случайная связь. Если Сесилия в какой-то момент решила, что ею пренебрегают, дурно обращаются с ней, если она почувствовала себя оскорбленной, скомпрометированной, почувствовала, что ее предали, ей оставалось лишь одно законное средство заставить Чосера признать их связь и его, Чосера, роль в ее жизни: она вольна была обвинить его в “насилии”, а после вынудить начать вырабатывать условия соглашения.

Три последующих документа еще более туманны: Сесилия Шампейн, возможно, оказалась беременна, в чем и убедилась за несколько промежуточных месяцев. Иск о “насилии”, таким образом, мог получить новую юридическую оценку, так как бытовало убеждение, что зачатие может произойти, только лишь если женщина пошла на контакт добровольно. Почему и возникло решение о выплате десяти фунтов, которые сочли достаточной компенсацией. Все прочие объяснения также следует отнести в область предположений.

Однако ребенок мог существовать. В позднейшем своем произведении, озаглавленном “Трактат об астролябии”, Чосер обращается к “младому Лоуису, сыну моему”, “достигшему нежных десяти годов”; в тексте указана и дата, соответствующих астрономических исследований и расчетов – 1391 год, а у нас нет

оснований отрицать и создание в том же году самого трактата. Следовательно, маленький Льюис на свет появился в 1381 году, лишь через несколько месяцев после судебной тяжбы с Сесилией Шампейн. История интригующая, хотя и не совсем понятная. Во всяком случае, благодаря ей поэтические уверения Чосера, что при дворе Венеры он чужой и в любовном искусстве неискушен, приобретают несколько иную окраску: он не так прост, как о нем, может быть, думали ранее, а самая искренняя и чистая поэзия может обернуться фальшью.

То же может относиться и к убедительности в оценках общественных событий. Устройство бракосочетания Ричарда II с Анной Богемской шло как положено и продвигалось успешно, однако руки дочери последнего императора Священной Римской империи домогались еще два претендента – Карл Французский и Фридрих Мейсенский. В это время Чосер пишет поэму о трех брачных конкурентах, но спор переносит в птичье царство. Это обычный прием средневековой литературы – комически уподобить человеческое сообщество миру животных, комментируя тем самым дела людские; причем не обязательно с целью пародийной или сатирической, а чаще просто радуясь многообразию Творения. Начало “Птичьего парламента” – традиционно: автор погружен в чтение книги, “чьи словеса старинны”, но почувствовав изнеможение, ложится в постель. Он засыпает, и во сне ему является провожатый, который ведет его в храм Венеры. Все это так знакомо слушателям или читателям Чосера, что может быть воспринято лишь как бы личной его печатью, данью особенностям личного стиля, хоть и отданной иронически и полной самоиронии. Здесь Чосер вновь изображает себя певцом прекрасной возвышенной и утонченной любви fine amour и искусства ее, вовсе ему неведомого. По выражению его провожатого:

> Тобою вкус любви утерян; так теряет
> Способность различать оттенок пищи
> Страдалец, мучимый болезнью, но все же,
> Хотя борения любви оставил ты,
> Однако можешь их наблюдать и видеть,
> Как способен следить за поединком тот боец,
> Который, одряхлев, сам к битвам непричастен.

Таков средневековый эквивалент известной мудростн: способный делает, неспособный – описывает. Так как эти строки, по всей вероятности, написаны были вскоре после истории с

Сесилией Шампейн, “насилии” над ней, о котором было хорошо известно, такое высказывание следует понимать как сугубо ироническое. Иронии добавляет и то, что в “Птичьем парламенте” впервые на английском языке восхваляется День святого Валентина, что даже делает обоснованным предположение, будто у истоков празднования этого дня в Англии, празднования, введенного в подражание итальянцам (а точнее – генуэзцам), стоял Чосер. Это один из самых значительных, хоть и не столь известных, вкладов его в английскую культурную жизнь. Возможно также, что поэма читалась на соответствующем празднике при дворе в честь “владычицы” Любви, чем и объясняется относительная краткость произведения и общий тон – легкой комедийности содержания – всех этих сетований и страданий.

Несмотря на банальность темы, художественные средства, используемые Чосером в поэме, претерпевают изменения. Восьмисложный размер уступает здесь место простору десятисложника, а назойливая четкость куплета сменяется блеском и великолепием “королевской строфы” на основе итальянской рифмованной октавы (ottava rima), которую английский поэт заимствовал у Боккаччо. Такая строфика обеспечивала произведению большую звучность, а поэту – большую свободу:

> Жизнь коротка, искусство – не постичь,
> Попытка стоит сил, ну а победа – редкость.

Английская поэзия ранее не знала ничего подобного этому, не владела стихом столь величественным и одновременно легким, свободным и мелодичным. Чосер являлся великим экспериментатором. Он ввел в английскую литературу “королевскую строфу”, которой пользовались потом в течение трех столетий поэты “высокого стиха”. Мы уже отмечали мастерство, с каким он приспособил к английскому стиху Дантовы терцины, опередив тем самым “эксперименты” Томаса Уайетта почти на два столетия. В эпоху Чосера язык отличался особой гибкостью и непредсказуемостью, осваивая лавину хлынувших в него новых элементов, он был в высшей степени податлив – богатый, неустоявшийся, менявшийся с каждым новым поколением говоривших на нем. Чосера, как и Шекспира, породил и привел в поэзию настойчивый зов, гул этой всепоглощающей среды.

Строфика “Птичьего парламента” – форма универсальная, в

руках Чосера допускающая и введение в поэзию вопиюще ярких просторечий, и использование языка улицы.

Кукушка, утка, гусь кричали:

“Кек-кек”, “га-га”, “ку-ку”.

Сюжет поэмы незамысловат. Приведенный в храм Любви поэт затем оказывается на близлежащей поляне, куда на Валентинов день слетаются разнообразнейшие пернатые для сватовства и заключения браков. За орлицей увиваются целых три ухажера – орел королевской породы и еще два самца; они клянутся ей в верности и вечной преданной любви, постоянно прерываемые грубыми криками более низкородных птиц, которых утомили долгие речи, бесконечность церемонии: “Довольно!

Хватит! Закругляйтесь! Не стоят мухи дохлой ваши речи!” Орлица просит года отсрочки, чтобы понять свое желание, и Леди Природа соглашается повременить, уступая ее нерешительности. Поэма оканчивается хвалой лету:

Восславим же мы лето, когда солнце
Прогонит тьму и зимней ночи холод.

Рассказчик отправляется к себе и возвращается к прерванному чтению. Таким образом, общественное событие – подготовка королевского бракосочетания – становится поводом к созданию очаровательной шутливой поэмы.

“Птичий парламент” важен и как этап в поэтическом становлении Чосера. Уже было указано на то, что метрика Чосера зиждется на октавах Боккаччо, а описание храма в поэме имеет источником соответствующие куски боккаччиевской “Тезеиды”. Если бы в Милане Чосеру не попались рукописи Боккаччо, английская поэма не была бы написана. Между двумя поэтами существуют и другие точки соприкосновения и сходства. Родным отцом Боккаччо был мелкий итальянский негоциант, и связи его с королем неаполитанским Робертом облегчили пятнадцатилетнему юноше путь ко двору анжуйского герцога. Сходный путь проделал и Чосер: из среды городских купцов и ремесленников – в круг аристократов. Боккаччо вскорости очутился при неаполитанском дворе, где и обрел свое литературное призвание, став профессиональным рассказчиком, развлекавшим изысканную придворную публику. Он сочинял “видения” и романы о fine amour и, что более всего

примечательно, сочинял их на местном наречии. Сходство, таким образом, налицо. Неведомо для себя и оба одновременно, и Чосер, и Боккаччо, явились на мощной волне изменения во вкусах и чувствованиях.

И, что еще интереснее, Боккаччо был тем писателем, с которым Чосер вступил в негласное соревнование. Или, лучше сказать, в спор, приспосабливая для поэзии родной английский язык и испытывая его возможности. Он поубавил боккаччиевскую склонность к непристойностям, умерил стилевые излишества итальянца, насытил произведение иронией и юмором, тем самым намеренно изменив настроение и тон и соединив трагедию и комедию в единый сплав. Сделав упор на характеры, он придал поэзии элемент театральности, драмы, став и в этом зачинателем национального стиля.

Глава восьмая
Кровавый мятеж

Жизни Чосера свойственна как бы двойная перспектива, сходная с оптической иллюзией. Личность поэта яснее видится в деталях, в событиях мелких, в то время как с полотен масштабных он словно устраняется. О современных ему исторических событиях он не написал ни строчки. Возможно, это естественный результат его скрытности, стремления стушеваться, уйти в тень, хитро соблюдая нейтральность.

Так, Чосер предстает в официальных документах от февраля 1381 года, где он назван поручителем за богатого лондонского купца Джона Хенда, торговца мануфактурой, приобретшего, по-видимому, незаконно, землю в Эссексе; за будущее примерное поведение купца Чосер выразил желание поручиться. Интересно, что среди прочих облагодетельствованных подобным его ручательством был и человек, которому Чосер впоследствии посвятил "Троила и Хризеиду". Человек этот, звавшийся Ральфом Строудом и являвшийся философом и поэтом, жил в тот период над Олдергейтскими воротами в точности на тех же условиях, что и Чосер над Олдгейтскими. Он был юристом и парламентским приставом, как Джон Гауэр, и принадлежал, в общем, к тому же кругу ученых горожан-законников и купцов, к которому принадлежал и Чосер. Люди обеспеченные, успешные и образованные, сделавшие карьеру благодаря хорошему воспитанию, и составляли наиболее взыскательную часть Чосеровой аудитории.

Фамилия Чосера упоминается в связи с мелким судебным разбирательством, происходившим в начале 1381 года, но при этом ничего не известно о позиции и поведении Чосера во время крупнейшего и самого значительного за всю историю Англии мятежа, когда отряды крестьянской бедноты и недовольных, собравшиеся со всех концов королевства, стекались к воротам под домом Чосера, чтобы начать осаду Лондона. Позднее мятеж этот получил название крестьянского восстания, хотя к восставшим примкнули и тысячи неорганизованных лондонцев. Непосредственной причиной возмущения явилось введение "подушного налога" в три серебряных четырехпенсовика на каждого вне зависимости от достатка. Но недовольство было вызвано и попыткой уравнять оплату труда наемных работников, число которых после эпидемии чумы 1349 года сильно сократилось. Трудящееся население стало более активным – люди

чаще теперь меняли место жительства и хозяев. В этом смысле бунт явился признаком окончательного краха феодальной системы, основанной на всевластии помещиков.

Джеффри Чосер в качестве сборщика таможенных пошлин должен был принадлежать к врагам восставших, к тем, за кем они охотились. Сборщиков налогов, видных придворных и слуг молодого короля восставшие убивали. Дворец патрона Чосера Джона Гонта был сожжен дотла. Однако Чосер расправы избежал. Он либо укрылся где-то, либо заперся в своей башне. Свидетельств, что он находился при пятнадцатилетием Ричарде II и его советниках, сумевших спрятаться в лондонском Тауэре, у нас не имеется. Должно быть, Чосер тихо сидел где-то, как говорится, “не высовывался”. “Не высовываться” было его излюбленной позицией. Сохраняя такое преимущественное положение, он мог из окна своего кабинета видеть и лагерь повстанцев, и пылающие в огне крепостные стены. Театральное явление короля верхом на коне в лагере мятежников в Смитфилде и последовавшее затем и на том же месте убийство лордом-мэром предводителя восставших Уота Тайлера положили конец мятежу – внезапный и, в общем, неожиданный.

Король и его приближенные уцелели, хотя власть и столкнулась с угрозой, самой серьезной со времен короля Иоанна. Но, как бы то ни было, Чосер на восстание не откликается вовсе. Лишь однажды в “Рассказе Монастырского капеллана” он вскользь упоминает “Джека Стро и его людей”. Джек Стро был одним из предводителей восставших, чьи

> Крики тем восторженней звучали,
> Когда копье пронзало фландрца грудь.

Эта мимолетная, но весьма меткая характеристика “взбунтовавшихся парней” дана в “Кентерберийских рассказах”. Но ею отклик на события исчерпывается. Возможно, разгадку следует искать в области эстетической. Не имея перед собой достойных примеров и литературных образцов, Чосер, по-видимому, не был способен освоить новый материал, представив ту или иную его интерпретацию. Воображению его требовались яркие примеры, иначе оно тускнело и увядало.

Уже не раз высказывалась мысль о некоторой пассивности, инертности творческого воображения поэта, которое всегда подхлестывалось уже имевшимся литературным источником. Вообще он был скромен и даже уклончив в мировоззренческих оценках; очень редко мы можем найти у него определенно высказанные мнения, выражение тех или иных нравственных

принципов. Свою жизнь он строил по указке других или же сообразуясь с требованиями долга. Творчество же его также формировали различные мощные влияния, оно развивалось, как реакция на искусство выдающихся мастеров или как усвоение их уроков.

Из других его брошенных вскользь слов мы можем заключить, что лондонскую толпу Чосер ставил не слишком высоко и так отзывался о ней в “Рассказе Студента”:

> О ветреная чернь! Душой неверной
> Ты мечешься, предательства полна!
> К тому, что ново, ты падка безмерно, —
> Свое лицо меняешь, как луна.
> Твоим суждениям лишь грош цена[14].

Все указывает на то, что Чосер неизменно оставался на стороне королевской и городской власти. Да и почему бы ему и не поддерживать эту власть? Благосостояние его, как и известность, росло, он становился богатым и всеми уважаемым горожанином. Девятнадцатого июня, всего через шесть дней после вторжения мятежников, он продал арендатору право владения своим родовым гнездом на Темз-стрит. Возможно, что к отказу от этой собственности его подтолкнула случившаяся незадолго перед тем смерть матери, но, без сомнения, он был рад отделаться от этого дома ввиду происходивших вокруг событий. Повстанцы питали особую ненависть к иностранным купцам, обласканным короной, и податными инспекторами. На следующий же день после вторжения повстанцы осадили церковь Святого Мартина в Винтри, где укрылись тридцать пять фламандцев, и вытащили их из укрытия. Надо помнить, что церковь эта находилась в двух шагах от родного дома Чосера и, возможно, именно в ней поэт был крещен. Купцы и их домочадцы были обезглавлены, а тела их брошены гнить на улице. Говорили, что Уот Тайлер самолично выслеживал одного из фламандских купцов, сэра Ричарда Лайонса, близкого друга и бывшего начальника Чосера. Это яркий пример средневековой жестокости, бушевавшей у самого порога Чосера. И все же в этом отклике на убийство фламандцев, уже нами процитированном, проглядывает удивительная отстраненность. Деньги, вырученные Чосером от продажи родного дома, явились добавкой к другим выгодным сделкам. Всего лишь за три недели до этого он получил фунтов шестнадцать в подарок от благодарного начальства. Ему были выделены деньги казначейства, возвращенные им по долгам, – выплата, которую непременно должен был санкционировать

король или королевский совет. К тому же незадолго перед этим ему были выплачены двадцать два фунта в возмещение расходов во Франции, а за год до этого ему вернули израсходованное во время миссии в Милан. Наверное, покажется странным, что всего через два месяца после продажи дома Чосеру понадобились еще “аванс” с его годового жалованья, а также аванс за ноябрь. Не совсем ясно, почему он так нуждался в этих маленьких добавочных суммах. Любители драматических домашних историй вольны предположить, что виной всему были претензии к нему Сесилии Шампейн.

Глава девятая
Дела Троянские

Если, прибыв в лагерь повстанцев, Ричард II доказал свою храбрость, то его бракосочетание с Анной Богемской в 1382 году отметило печатью стабильности то, что становилось теперь полноценным и общепризнанным королевским двором и положило начало эпохе во многих отношениях замечательной и блестящей, хотя и окончившейся вынужденным отречением и убийством самого Ричарда. Правление его прославила и культура, созданная в этот период. Ричард заслужил память потомков за то, что при нем творили не только Чосер, но Ленгленд и Гауэр. То была эпоха блестящей литературы, просвещенная эпоха, сравнимая с елизаветинской конца XVI века, эпоха создания шедевров, подобных "Уилтонскому диптиху". В это время впервые появились мистерии, замечательные богословские труды Марджери Кемпе и Джулиана Норвичского, что стало предпосылкой "Восточно-английского Возрождения", проявившегося в иллюстрировании рукописных книг и настенной живописи. Ричард II был преисполнен сознанием величия своего королевского предназначения и воплощал это средствами едва ли не театральными. Он верил, что власть его от Бога, и вдохновлялся этой верой. При дворе его царил ритуал и строго соблюдались церемонии, главным становились не драки и противоборства, а борьба идей, что, в свою очередь, двигало вперед национальное самосознание. Государство крепло и развивалось, и это находило всестороннее выражение как в произведениях драматического искусства, так и в трудах ученых мужей. Никто из средневековых королей не смог бы похвастаться таким оставшимся после них наследием. Тут нельзя не отметить и влияние на королевский двор Милана и Богемии, Генуи и Парижа, Прованса и Павии. Поэзия Чосера стала частью европейской традиции, но не следует забывать о том, сколь многим он был обязан не только поэзии Данте и Петрарки, но и народному языку мистерий. Он находился в самом средостении культуры – национальной и общемировой.

Нигде это не проявляется столь отчетливо, как в произведении, начатом им как раз в этот период. Поэма "Троил и Хризеида" заслужила признание как первый роман, написанный на современном английском языке. Но значение ее этим не исчерпывается. Это любовная история и фарс, элегия и философский трактат, комедия нравов, оплакивание горестной

судьбы, маньеристский роман и гимн во славу героических подвигов. Это пространное, всеохватное и примиряющее все жанры эпическое полотно – явление в английской литературе столь новое, что трудно даже дать ему определение. Единственное, что можно с уверенностью утверждать, что это первое произведение современной литературы, написанное по-английски. В каком-то смысле его можно считать эпосом Англии и выражением самой ее сути, настолько оно всеобъемлюще, настолько широк его охват, настолько естественна его способность вбирать в себя и соединять разнородные эстетические формы. По общему мнению, источник поэмы – боккаччиевский “Филострато”. Это основа, фундамент творения Чосера, и существуют многочисленные признаки внимательнейшего штудирования им итальянского поэта. Начальные строфы Чосера в особенности обнаруживают сходство с боккаччиевской моделью, словно Чосеру требовались подъем и вдохновение оригинала, прежде чем пуститься на поиски собственных сокровищ, начать изобретать и переоценивать.

Так строки:

> В ее глазах стоишь ты высоко,
> На месте, доблестей твоих достойном…

являются очень близким переводом итальянского первоисточника, переводом, в котором ради абсолютной, дословной точности употреблены слова, редкие, экзотические для современного Чосеру состояния языка. Вообще во всем корпусе текста “Троила и Хризеиды” явственно проглядывает “Филострато”, составляющий тканевую основу английской поэмы.

Сюжет стар и известен европейской традиции с середины XII века как некий памятник несчастной любви и обреченной культуре. Печальная история происходит в Трое перед самой ее гибелью от рук греческих захватчиков. Отец Хризеиды переходит на сторону осадивших город вражеских полчищ, и девушка остается одна в родном городе, удрученная и утратившая всякую надежду. Один из героев-троянцев по имени Троил без памяти влюбляется в одинокую Хризеиду. Они становятся любовниками – в чосеровском варианте – не без помощи Пандара, дяди Хризеиды, – и переживают краткий период восторга и счастья. Но городские власти принимают решение отослать Хризеиду к находящемуся в греческом стане отцу в обмен на нескольких видных горожан, попавших в неприятельский плен; влюбленные расстаются, и клятва Хризеиды, дающей слово чести до гроба хранить любовь и верность своему избраннику, принадлежит к

шедеврам европейской литературы и равна по силе любовным сценам между Тристаном и Изольдой. Однако, очутившись в безопасности у греков, Хризеида нарушает торжественную свою клятву и предается любви с воином Диомидом. После неустанных поисков и выслеживаний возлюбленной Троил в конце концов осознает ее коварство и умирает от горя. Однако в интерпретации Чосера он возносится в горние выси, где ему открывается вся тщета земной любви и злая переменчивость судеб людских. Чудесная легенда эта передавалась из поколения в поколение в творчестве многих поэтов и менестрелей, но, лишь прочтя ее у Боккаччо в его “Филострато”, Чосер в полной мере оценил возможности данной темы. Вряд ли будет натяжкой сказать, что он вступил тут в соревнование со старшим своим итальянским собратом, попытавшись доказать, что может превзойти того на собственной его территории. Различия двух произведений определяются разницей общего тона – ведь одно из них написано юным итальянцем, другое же принадлежит перу умудренного опытом англичанина средних лет. Наблюдаются и иные, более тонкие различия. Для каждого исследователя творчества Чосера большое значение имеют те изменения и дополнения, которые он вносит в “Филострато”. Боккаччо создал свою поэму, когда ему было двадцать с небольшим, и замысел ее частично определила его собственная любовная история: тоска по покинувшей Неаполь возлюбленной. Чосер же удаляет из поэмы всякую соотнесенность с личными переживаниями и вводит в текст фигуру рассказчика, как бы озадаченного происшедшим, к которому сам он не имеет ни малейшего касательства, – он лишь ссылается на авторитеты, не претендуя на собственное суждение относительно излагаемых событий:

Не я, но люди говорят, что полюбила…

Естественным следствием такой позиции является более глубокая проработка характеров действующих лиц главным образом с помощью элементов иронии и комических приемов; основной упор Чосер делает на несоответствие между словами и делами персонажей, он вскрывает это несоответствие, обнаруживая контраст искренних любовных признаний и уверений с лицемерием и притворством – непременных спутников любви. Романтическую историю Чосер превращает в драму со всей присущей ей тонкостью характеров и детализацией сюжета.

К тому же он подчеркивает все признаки старинности этой истории. В пересказе Боккаччо она выглядит вполне современной,

в то время как Чосер с удовольствием использует краски Античности и средневековой куртуазности. Отчасти – это выражение природной тяги и любви англичан к старине во всех ее проявлениях, однако налет книжности, насквозь пропитанной литературой, который отличает поэму, соответствует вкусам и самого Чосера. В том же духе традиции он вводит в поэму идею Судьбы, или Рока, как основной движущей силы повествования; в описываемых событиях влюбленная пара, а по существу, и два противоборствующих войска, предстают беспомощными орудиями неких сил, непостижимых и им неподвластных. Таинственность этих сил и роль их в перипетиях любовной истории, чей несчастливый финал предопределен, Чосер подчеркивает, подкрепляя доводами, заимствованными у астрономии и астрологии. Разумеется, признание присутствия и действия этих сил в жизни человека способно вызывать не только ощущение трагедии, но и известную иронию, и характерной особенностью таланта Чосера является то, что он не чужд как того, так и другого, чем мастерски и делится с читателем.

Уже в период работы над поэмой Чосер начал переводить “Утешение философией” римского философа VI века Боэция, трактат о том, что такое судьба, одно из тех произведений, значение которого для средневековой мысли трудно переоценить. Особенно увлекся им XIV век, хотя еще король Альфред, живший пятью веками ранее, переводил Боэция. Для Чосера же трактат этот, по всей видимости, имел и какой-то сугубо личный смысл. Главная идея трактата состоит в пропаганде философии как единственного убежища, спасающего от обманчивых, предательских радостей, которые сулит “слепая богиня Фортуна”, текст же его был написан в тюремной камере, где Боэций, служивший при царском дворе, ожидал смерти. Трактат полон горечи, скорби и глубокой личной обиды. Лишь усвоив умиротворяюще мудрые заповеди философии, мы избегнем “стремительного натиска и тягот” жизненных обстоятельств, предлагаемых нами “вечно вращающимся колесом Фортуны”.

Философское правило “Ни на что не надейся, ничего не страшись” тоже кажется весьма разумным человеку темперамента Чосера, спокойному и даже пассивному. По отношению к окружающему его миру он проявляет своего рода фатализм, почему ему и приходится по душе трактат, рекомендующий проявлять contemptus mundi, спокойное и устойчивое презрение ко всему мирскому, готовящему нам неизбежные испытания разочарованием и потерями. Возможно, Чосер полагал, что не достиг того, на что мог надеяться и чего желал в области карьеры, а может быть, он добровольно жертвовал этой карьерой

ради своего призвания поэта. Как бы то ни было, он с готовностью и даже радостью отвергает притязания “восхитительного чудовища Фортуны”. Дороже душевное спокойствие и способность быть самим собой. Далее следуют рассуждения об относительности человеческой свободы в соотношении ее с Божьим промыслом, что являлось одной из центральных проблем теологической мысли XIV века. Ко времени Чосера проблема эта решалась в духе, наиболее благоприятном для поэта и созвучном ему. Божий промысел – есть план всего сущего в том виде, как оно было измыслено Творцом, для которого не существует того, что мы именуем “время”. Свобода воли же действует там, где извечный план претворяется через явления изменчивого мира, подвластного категории времени. Создается философский эквивалент некоего обоюдоострого меча.

Язык Боэция оказал влияние на средства выражения Чосера, что мы видим и в его коротких стихах этого периода, и в особенности в более крупном произведении – басне “Паламон и Арсита”, над которой он тогда работал и которая впоследствии превратилась в “Рассказ Рыцаря” из “Кентерберийских рассказов”, так что справедливо будет отметить влияние Боэция как устойчивое и проявившееся также в позднем творчестве поэта. Однако период ранних 80-х годов можно впрямую назвать философским периодом Чосера. В “Троиле и Хризеиде” он прямо употребляет лексику, почерпнутую из Боэция. Такова речь Троила о “необходимости” и “вечном присутствии божества”. Великолепный стихотворный монолог прерывает появление Пандара, носителя иной мудрости – мудрости житейской. В этой связи примечательны гибкость и живость языка и интонации “Троила и Хризеиды”, их изменчивость. Они вобрали в себя и унаследовали элементы саксонской речи и стилистическую традицию романных повествований, сочетая их так естественно, что становилась возможной любая форма их объединения и игры ими.

Стилевые отличия обычной разговорной речи и высказываний на публику составляют заметную часть содержания поэмы, так как сюжет в ней развивается с помощью речей, не всегда правдивых. Тут нельзя не вспомнить, что и придворная карьера Чосера развивалась и оказывалась успешной во многом благодаря его мастерству оратора, речам, от которых требовалась уклончивость и, в то же время, убедительность наряду с галантной учтивостью. Чосер обладал умением создавать иную реальность, якобы неподвластную грубым велениям долга, верности королю и коммерческой выгоде. Текст поэмы изобилует словами лживыми и пустыми, которые следовало бы пропускать

мимо ушей. Такие слова способны очаровывать, и они опасны. Хризеида заявляет, что “прелесть черт [ее] Троила очарует”, но и про него говорится, что он способен чаровать, правда, уже словесно, так что красавица “падет от сладости его речей”. “Троил и Хризеида” – это драматическое столкновение двух лицемерий. Поэма описывает мир, ставящий во главу угла этикет и неукоснительное соблюдение внешних приличий, в то время как все главное, происходящее втайне, подспудно, sub rosa, или, используя средневековое выражение, “под большим пальцем”, остается незамеченным.

> Ты знаешь тайные пружины всех вещей,
> От коих прочие в смущенье пребывают…

Когда за личиной слов и поступков проступает истина, чосеровские герои чувствуют смущение, они краснеют или застывают – “хранят недвижность камня”.

Этот упор на слова, в отличие от “тайной пружины всех вещей”, делает весомым мнение, что поэма “Троил и Хризеида” предназначалась для публичной декламации.

Некоторые места в тексте могут служить подтверждением, в особенности те, что намекают на слушателей, присутствующих при чтении:

> Что жарче у костра,
> То знает все собранье.

О каком “собранье” речь? Что иное может здесь подразумеваться, как не публика, те, кому поэт читает свое творение? И вновь он обращается непосредственно к своим слушателям:

> По правде, никогда не слышал я
> Историю эту, да и вам самим
> Неведома она…

Двойственность адресовки открывает автору неисчислимые возможности для игры. Не раз отмечались многосоставность содержания поэмы, множественность заключенных в ней пластов двусмысленной иронии, не позволяющей свести ее смысл к какой-то одной идее и допускающей массу толкований и интерпретаций. Но если воспринимать текст как

предназначенный для устного чтения, для игры, представления, то трудности интерпретации во многом снимаются. Речи Хризеиды и Пандара туманны и расплывчаты по определению – ведь истинные чувства свои они скрывают, но хороший актер способен вдохнуть в них жизнь. Надо полагать, что Чосер являлся именно таким актером. Он актерствовал и в жизни, играя роли дипломата и посредника, и, должно быть, читая, тоже использовал свое умение.

Он мог разыгрывать “Троила и Хризеиду” перед придворной публикой, но мог выступать с чтением своей поэмы и перед простыми горожанами. Каждый год городское купечество отмечало праздник, называвшийся на французский лад “пюи”, во время которого устраивалось своеобразное состязание в ораторском искусстве, – жанр, популярный в Средневековье, имевший сходство с дебатами в королевских судебных иннах. Считается, что такие состязания положили начало тюдоровской драме. На этих популярных общественных сборищах хорошо смотрится и фигура Чосера. Возможно, участием его в них объясняется и посвящение поэмы Джону Гауэру и Ральфу Строуду. И тот и другой имели судейские полномочия и принадлежали к так называемой городской аристократии.

Но оснований делать точные выводы мы не имеем. К тому же в “Троиле и Хризеиде” есть отсылки, свидетельствующие и о книжном предназначении поэмы, адресованной одинокому внимательному читателю:

> Читатель мой, способен ты понять
> То горе, что язык не в силах передать.

В тот же период Чосер создает короткое стихотворное обращение к переписчику по имени Адам:

> Писцу Адаму ежели случится
> Поэму эту вновь переписать,
> Советую не торопиться
> И быть внимательным к словам,
> Коли по шее получить боится.

Поэт здесь сетует на ошибки и невыверенность рукописных копий, сделанных неким Адамом так небрежно, что их приходится “подчищать”, дабы придать им надлежащий вид. Таким образом, мы получаем еще одно свидетельство того, что “Троил и Хризеида” распространялась в списках и текст поэмы

предназначался не только для декламации перед публикой, но и для вдумчивого чтения. Здесь, как и во многих других отношениях, Чосер пребывает в двух ипостасях, находясь как бы в промежуточном состоянии между двумя различными сферами: с одной стороны, он – придворный поэт, читающий свои произведения в вечереющем саду, с другой – скромный служитель литературы.

И совершенно естественно и неизбежно вновь обратиться здесь к картинке на фронтисписе в одном из изданий “Троила и Хризеиды” – поэт, на подобном кафедре возвышении, выступает перед благородной публикой, и это похоже на проповедь. Чосер здесь и серьезен, и в то же время занят игрой, то есть воплощает некий излюбленный им контраст – красноречие как способ дать нравственный урок, в котором форма не менее важна, чем содержание. Высказывалась мысль, что две фигуры перед украшенным возвышением исполняют мимическую сцену, иллюстрирующую описываемые Чосером события, – интересное соображение, выдвигающее новую возможную деталь выступления поэта. Но публика главным образом поглощена звучащим словом, объединенная общим действом, протекающим по собственным законам, а также общими чувствами, надеждами и переживаниями. Поэт обращается к собравшимся перед ним и завладевает их вниманием. Его стихи, как говорил сам Чосер, “заставят их краснеть иль погружаться в мечтанья”. Временами тон его бесстрастен, временами – вдохновенно красноречив и демонстрирует незаурядное ораторское мастерство, а потом он вдруг спускается с котурнов – и перед слушателями простой и близкий им человек; он может пошутить, рассказать забавный анекдот, позволить себе хитрый намек; теперь это не безличный оратор, а просто Джеффри Чосер, чьи особенности и слабости хорошо известны некоторым из присутствующих. Существует ряд тактических приемов и тонкостей, которые тоже могли им использоваться. Возможно, он перевоплощался в другое лицо с помощью мимики или жеста, опровергал сказанное, снижая эффект и меняя ожидаемое впечатление. Вот почему, как оказалось, совершенно невозможно дать раз и навсегда определенное истолкование написанных Чосером текстов: каждый исследователь и критик имеет на этот счет свою теорию. Не будь актера, исполнителя, в чем был бы смысл текстов? И к чему критическое истолкование, исследование, когда стихи являют себя каждый раз по-разному, свежо и неожиданно?

В финале “Троила и Хризеиды” Чосер обращается к своему созданию с таким напутствием:

… Ступай, книжонка, отправляйся в путь!
А встретится тебе когда-нибудь
Поэт, что Дантом некогда венчан,
Гомер, Овидий, Стаций иль Лукан,
Соперничать не смей ты, будь скромна,
Лобзай смиренно праху этих ног,
Будь памяти учителей верна,
Тверди тобой заученный урок.
Во мне ж надежда теплится одна,
Что, может быть, – пусть сгорбленный
и хилый —
В комедии я попытаю силы[15].

Это предчувствие будущей “комедии” – написанных в последние годы “Кентерберийских рассказов”, но важно другое, то, что Чосер нацелился на место в пантеоне великих поэтов. Он ссылался на них и раньше. В “Храме Славы” все они несут бремя современной им цивилизации, хотя и составляют ее славу и блеск. Принадлежа к царству “чистой поэзии”, каждый из них в то же самое время воплощает талант и чаяния своего народа. Не подлежит сомнению, что Чосер считает и себя достойным этой когорты. Он вполне уверен в художественной ценности “Троила и Хризаиды” и утверждает свое право быть представителем Англии в поэзии.

Глава десятая
Пребывание в Кенте

К этому времени Чосер приобрел достаточную репутацию и известность. Тогда же младший его современник Томас Аск писал о “благородном сочинителе философской поэзии на английском”, “его книге о Троиле”, а французский поэт Юсташ Дешан обращается к Чосеру: “Ovides grans en ta poeterie”, великий Овидий в твоей (то есть английской) поэзии. В последовавшей за “Троилом и Хризеидой” “Легенде о Добрых женах” Альцеста так приказывает поэту:

> Окончив книгу, отошлите королеве
> В Эльтем иль Шин в подарок от меня.

Из чего можно заключить, что поэзия Чосера приветствовалась и королевской четой. В качестве поощрении или же признания его заслуг весной 1382 года его назначают таможенным инспектором мелких сборов. Должность эту он получил восемью годами ранее, но не на постоянной основе, теперь же доход от нее стал поступать стабильно. То, что в следующем же месяце ему разрешили взять себе заместителя, указывает на необременительный характер его служебных обязанностей. По-видимому, должность его представляла собой нечто вроде синекуры: всю работу за определенную сумму делал заместитель, Чосеру же оставалось только грести денежки – практика весьма популярная в Средневековье и распространенная даже в ряде церковных приходов. На следующий же год Чосер получил заместителя и на шерстяной таможне, а также и субсидию на том основании, что он “grandement occupee”, очень занят, “certeines ses busoignes”, другими неотложными делами. Высказывалось предположение, что “неотложными делами” являлось завершение “Троила и Хризеиды”, но, может быть, Чосер просто-напросто стал тяготиться таможенной службой. Не исключено также, что король вновь мог поручить ему какую-либо секретную миссию. В 1384 году Чосеру выделяют еще одного заместителя, в чьи обязанности входило решение более общих вопросов работы таможни на период месячного отсутствия Чосера. Причина отсутствия в документе не указана, а 17 февраля 1385 года Чосеру назначают уже постоянного заместителя; то есть мы наблюдаем постепенный, но решительный отход Чосера

от дел в Лондонском порту с его кипучей и чреватой опасностями жизнью. За время таможенной деятельности Чосера таможня тоже постепенно перестраивалась – добавились помещение бухгалтерии и отхожее место. Надо сказать, что в годы его не слишком постоянного присутствия на таможне Чосер все-таки кое-какие обязанности исполнял – ему надлежало просматривать счета и визировать их перед подачей в казначейство. Все бумаги и сводки представлялись туда за его подписью. Был случай, когда бумага поступила неподписанной, и ему затем пришлось явиться "для самоличного присутствия" – "in propria persona sua" – и клятвою заверить подлинность документа.

Жена Чосера, однако, "самоличным присутствием" своим мужа не баловала. Весьма далекая от того, чтобы считаться "тенью мужа", Филиппа Чосер поселилась в доме своей сестры

Кэтри Суинфорд в Линкольншире. Будучи любовницей Джона Гонта, Кэтрин получила во владение там большую усадьбу, и имеются свидетельства, что и Филиппа несколько лет прожила там с сестрой. Годовое жалованье за 1378 год выплатили ей в Линкольншиле, а в 1386 году она была принята в общину Линкольнского собора. Можно заключить, что с Линкольнширом она была связана уж никак не меньше восьми лет. Все эти годы Чосер пребывал в Олдгейте, и на это же время падает его тяжба с Сесилией Шампейн. Трудно отбросить подозрение, что Чосер находился тогда в незаконном браке. Однако в январе 1386 года супруги воссоединились для совместного присутствия на траурной церемонии в честь почившей принцессы Иоанны, матери Ричарда II. Сохранилась опись предметов траурной одежды, и в том числе упоминается пожалованная Чосеру материя на черный траурный плащ. Примечательно, что Чосер упоминается в ряду высших придворных сановников, сквайров и высокопоставленных законников, что служит лишним доказательством почетного положения Чосера в английской иерархии XIV века, где звание сквайра было всего лишь на ступеньку ниже звания рыцаря. Так как принцесса Иоанна не раз покровительствовала Гонту, а к тому же была близка с прежней госпожой Филиппы Чосер, королевой Филиппой, нет сомнения в том, что Филиппа Чосер присутствовала на траурной церемонии. Обменялась ли супружеская пара при встрече демонстративноофициальными поцелуями или выказала свои чувства более непосредственно – неизвестно. Вообще выражение чувств у человека позднего Средневековья характеризуется странным сочетанием пылкости на словах и холодности на практике, так, эмоциональность поэтических строк Чосера никак

не противоречит прагматизму его брачных отношений.

На самом деле королева скончалась еще осенью 1385 года, но траурная церемония была отложена из-за дел государственной важности. А между тем в промежутке между двумя этими событиями Чосера назначили мировым судьей по делам в Кенте. Его предшественник на этой должности, Томас де Шарделоу, являлся королевским коронером и аторни суда Королевской скамьи, так что Чосером была подхвачена традиция славная и достойная. Получив это назначение, Чосер преодолел еще одну градацию на пути вверх по лестнице средневековой иерархии и занял новое и более высокое положение в относительно узком кругу тогдашних чиновников – доказательство того, что известность его не ограничивалась сферой поэтической. Прежде всего он воспринимался как человек действия, человек на государственной службе, принадлежавший к тем, кого Кембриджский устав именовал “людьми лучшими и самыми законопослушными”. В качестве мирового судьи он должен был заседать на слушаниях дел по гражданским правонарушениям, таких как, например, спекуляция или дурное обращение с наемными работниками, а также принимать участие в предварительных расследованиях и более серьезных преступлений – дел об изнасиловании, убийстве, которые затем уже переходили в Лондонский суд. Коллегами его были люди состоятельные и уважаемые, среди которых значились и пэры, и королевские советники, но иногда Чосер действовал и самостоятельно, как независимая судебная инстанция. Само по себе назначение Чосера не может служить доказательством хорошего знания им юриспруденции, но предполагать, что в законах он был ориентирован, мы все-таки можем, и это подкрепляет версию, согласно которой на каком-то более раннем жизненном этапе Чосер прошел курс обучения в Королевском инне. В свете дальнейшего его поэтического творчества приобретает значение и вероятность частых его поездок в Кентербери: путь следования чосеровских паломников становится знакомым и привычным и самому поэту

Связь Чосера с Кентом приобретает большую очевидность позднее, когда из Олдгейта поэт перебирается в Гринвич. Однако зваться мировым судьей по делам в Кенте вряд ли было бы возможно без частых наездов в графство и проживания там. Исследователями выдвигалась также версия о назначении Чосера смотрителем королевских замков в Эльтеме и Шине, местах, относящихся к Кенту, и, если признать подобное предположение состоятельным, можно заручиться еще одним дополнительным доказательством связи Чосера с Кентским графством. Теории этой

нельзя отказать в последовательности. Прочие мировые судьи служили у влиятельных людей и судейские должности получали как представители своих патронов. Окажись догадка правильной, и назначение Чосера можно было бы считать прелюдиеи к получению им впоследствии должности смотрителя королевских работ. Так или иначе, мы можем допустить, что поэт какое-то время жил в одном из замков, принадлежавших королю.

Еще больший общественный вес приобрел он в следующем после его назначения 1386 году, когда его выдвинули в парламент от Кента в качестве почетного представителя графства. Его краткое пребывание в парламенте подтверждено документально. Парламент собрался 1 октября в Большом зале казначейства Вестминстерского аббатства. В истории он получил похвальное звание “Дивного парламента” за то, что подверг более тщательной проверке расходы короля и урезал привилегии и права королевских министров. Чосер, разумеется, был откомандирован в парламент как ставленник короля – ведь источником как богатства его, так и престижа являлась придворная служба – и должен был испытывать неловкость, сидя на заседаниях, неловкость тем большую, что парламент рассматривал и поданную ему петицию с требованием ужесточить контроль за таможенными инспекторами в английских портах, по крайней мере за инспекторами, назначенными пожизненно, и наказать проштрафившихся вплоть до увольнения, ибо в таможенном деле налицо были признаки коррупции. Главарем этого антикоролевского выступления был дядя короля герцог Глостер, сам получивший пятьсот фунтов через таможню, инспектором которой являлся Чосер, и, хоть назначен последний был и не пожизненно, он мог справедливо полагать, что санкции коснутся непосредственно и его.

Через четыре дня после первого заседания он отказался от своей квартиры в Олдгейте. Возможно, это явилось временным совпадением, однако случайностью это не было: как мы уже видим, Чосер все больше отходил от работы в порту, а отъезд из Олдгейта стал первым шагом к окончательному оставлению им таможенной службы. Он мог предвидеть неприятности для всех королевских инспекторов, почему и удалился с поля брани, хотя подобное маловероятно. Никто не был в состоянии предугадать, как развернутся события на сессии во всех деталях. Может быть, Глостер и другие вынудили его уйти, но, так или иначе, служба его к тому времени уже занимала мало, а единственное, что привлекало его в ней, – это стабильный доход.

Оставив Олдгейт, он 5 октября передал аренду своему

преемнику Ричарду Форстеру, а так как вскорости его стали числить по Кенту, то скорее всего он туда и переселился. В Кентских юридических документах Чосер упоминается уже 13 ноября 1386 года наряду с некоторыми другими жителями Гринвича. Есть свидетельства, что один из них, Саймон Мэннинг, был женат на сестре Чосера, о чем свидетельствует инспекционная запись от 1419 года, в которой Кэтрин Мэннинг значится еще и как сестра “достославного рыцаря и английского поэта Гэлфрида Чосера”. Впрочем о самой Кэтрин запись мало что говорит. Неизвестно даже, умела ли она читать, чтобы прочесть эту запись. Как мировой судья Чосер в 1378 году должен был находиться в Дартфорде, Кент, а на следующий год дело, возбужденное против него казначейством, слушалось тоже в Кенте. В другом юридическом документе от того же года Чосер значится “жителем Кента”, и это уже свидетельство решительное. По-видимому, он перебрался в Гринвич или соседний с ним Дептфорд-округ, где он и пребывал в последующие тринадцать лет. Годы эти стали временем “Кентерберийских рассказов”, где содержится упоминание этих мест:

> Уж полвосьмого, и пред нами Дептфорд.
> И Гринвич, где так много сварливых баб,
> Так начинай рассказ.

Нет сомнения, что под “сварливыми бабами” он подразумевает конкретных лиц.

Бежать из Лондона осенью 1386 года Чосера, однако, никто не вынуждал. Покинув 5 октября Олдгейт, он, по-видимому, нашел себе другое уютное пристанище в черте города. Пятнадцатого октября, в разгар сессии “Дивного парламента”, он был вызван для дачи показаний по делу, возбужденному одним известным лицом. Чосер выступил свидетелем в споре сэра Ричарда Скроупа и сэра Роберта Гровенора о праве на герб. Разбирательство происходило в трапезной Вестминстерского аббатства, куда Чосеру и надлежало проследовать от казначейства, где заседал парламент. Чосер дал свидетельство в пользу Скроупа, которого не один год знал как титулованного рыцаря и придворного. Двадцатью семью годами ранее они вместе служили во Франции, и Чосер дал показания, что истец уже тогда носил означеный герб. Но более непосредственный интерес представляет для нас та часть его показаний, в которых он рассказал о своей прогулке по Лондону. Скорее всего, показания Чосер давал на “низком французском”, измененной форме англо-нормандского, и можно представить себе его

рассказывающим: “il dist quil estoit une foitz en Friday-strete en Liundres com il alast en la rewe”, то есть будучи однажды на Фрайди-стрит и идя по улице, Чосер увидел там висящий возле какого-то дома герб. Он спросил, не Скроупам ли принадлежит этот герб. Прохожий ответил ему: “Nenyl, sieur” (“Вовсе нет, сэр”). Это герб сэра Роберта Гровенора. “Так я впервые, – продолжил Чосер, – услышал о Гровеноре”. Впрочем, детали этой тяжбы не так интересны. Скроун ее выиграл, несомненно, благодаря своей репутации, а не правоте. В данном случае нас интересует форма изложения, которую выбрал Чосер для своего свидетельства, – форму маленького рассказа: человек идет по незнакомой улице, получив на свой вопрос решительный и определенный ответ, так же решительно возражает – все это совершенно согласуется с нашим представлением о характере рассказчика, каким мы его знаем или воображаем. Мы так и видим лондонца и слышим его возмущение: “Вовсе нет, сэр”.

Официально Чосер оставил инспекторскую должность под конец 1386 года. 4 декабря он бросил свою службу на шерстяной таможне, а десятью днями позже разделался и с мелкими сборами; преемников своих на этих должностях, Адама Ярдли и Генри Джисорса, он знал как людей, в городе уважаемых. В целом на таможне Лондонского порта Чосер прослужил двенадцать лет; лишь один таможенный инспектор смог там продержаться дольше. Столь долгий срок службы на этом посту свидетельствует как о хорошей приспособляемости Чосера, так и о его отменных деловых качествах, благодаря которым на него вскорости не преминули посыпаться новые назначения.

В этот период нестабильности и перемен, он тем не менее продолжал усердно заниматься поэзией. Его перу достоверно принадлежат несколько стихотворений, в том числе “О стойкости”, которое считается обращением к Ричарду II. В одной из рукописных копий в качестве постскриптума содержится “envoy” – послание молодому королю:

> Как честь свою, лелей народ твой, о властитель,
> Не принужденьем правь, но добротой…

Примечательно и стихотворение “Истина”, в последующие годы ставшее одним из самых популярных лирических произведений Чосера. В ней проглядывают нравственные максимы Боэция и имеются запоминающиеся строки:

> Не видно дома здесь, одна пустыня,
> Вперед, о пилигрим, вперед домашний скот!

Когда-то в течение этого же периода он начал работу над переводом трактата папы Иннокентия III “De miseria condicionis humane” (“О несчастной участи человеческой”), известного также под другим названием “De contempt mundi” (“О презрении к миру”). Чосер название переиначил: “О жалкой судьбе, уготованной роду людскому” (“Of the Wreched Engendrynge of Mankynde”), что само по себе способно дать нам ключ к болезненному и полному покаянных настроений содержанию произведения. Хотя сам перевод не сохранился, но тот факт, что поэт скрупулезно, слово за слово, вникал в текст, усваивая его и насыщая им свой внутренний мир, уже показателен. Благочестивое и скорбное повествование должно было отвечать собственным его чувствам. И это лучший ответ тем, кто полагает, будто “Рассказ Священника” слишком мрачен для того, чтоб являться хорошей концовкой “Кентерберийских рассказов”. Напротив, Чосер мог расценивать его как самое удачное завершение своей карикатуры на зло и несовершенство нашего мира. Веселость Чосера всегда таит в себе мрачность, как и у многих художников, комизм его питается, в частности, меланхолией и склонностью к крайне мрачным настроениям.

Однако основные усилия Чосера в этот период были направлены на другую поэму. Успех “Троила и Хризеиды”, по-видимому, позволил ему решиться на новое масштабное полотно, написанное, впрочем, совершенно в иной манере, – “Легенду о Добрых женах”.

Эта куртуазная поэма посвящена королеве Анне и, возможно, создана по ее заказу. Тема произведения – воспеть женщин, погибших от любви или преданных любовью, в центре – судьбы Дидоны, Филомелы и Клеопатры среди прочих скорбных биографий жертв любовной страсти. Во сне Чосеру являются бог и богиня любви; бог пеняет ему за описание любовных несчастий, богиня же поручает ему создание надгробного плача по страдалицам, покинутым возлюбленными или погибшим от любви. Чосер вновь переиначивает старые и всем известные истории, приспосабливая их для своих современников. Уже одно это связывает “Легенду” с куртуазной поэзией, для которой подобный сюжет был material prima[16]. “Легенда” во всех отношениях являлась поэмой заказной. Точно такой же заказ выполнил и Джон Гауэр своим “Confessio Amantis”[17], в которой любовные истории взяты в изящное обрамление, – описание

встречи поэта с богом и богиней любви. В поэме Гауэр даже упоминает обстоятельства полученного заказа: поручение поэту дал Ричард II, когда они вместе с ним плыли по Темзе: “…призвав на свой корабль, дал мне заданье это”. Такое совпадение по времени и смыслу произведений, задуманных крупнейшими поэтами эпохи, не случайно и указывает на несомненность заказа. В “Исповеди влюбленного” Джон Гауэр передает к тому же и послание Чосеру от богини любви:

> Приветствуй Чосера, когда случится встретить,
> Он ученик мой и любимый мой поэт.

То есть между двумя поэмами, на одну и ту же тему наблюдается как бы искусная игровая перекличка. Намеренный выбор Гауэром для своей “Confessio” английского языка также изобличает влияние на него Чосера – впервые он издает большое произведение на местном наречии (используя к тому же восьмисложную строфу чосеровского “Храма Славы”), на что Гауэра явно толкнул пример Чосера и его значительный успех. Включенные Чосером в поэму легенды были, по-видимому, сокращены для устного чтения, а текст содержит ряд отсылок к придворным играм и ритуалам. Таковым, к примеру, является чудесный панегирис маргаритке – культ этого цветка при дворе был заимствован из Франции. Уже высказывалась догадка, что “ladyes nyntene”, девятнадцать дам, составляющих свиту богини любви, – это кавалерствующие дамы, удостоенные ордена Подвязки ко времени создания поэмы. Об устном предназначении поэмы говорит и своеобразие ее юмора, как нельзя лучше подходящего для устного воспроизведения:

> Как учит вас изложенный пример,
> В любви нет места вере,
> Верьте только мне.

Намек на декламацию поэмы можно усмотреть и в одном из шутливых авторских отступлений:

> И если в зале сем коварству место есть,
> То и коварные любовники найдутся.

В общем, текст поэмы дает нам твердые основания считать Чосера любимым поэтом королевского дома.

Точная дата создания поэмы неизвестна, но косвенные свидетельства указывают на время между написанием “Троила и Хризеиды” и “Кентерберийских рассказов”.

Идеей поэмы Чосер словно бы намеревается искупить грех описания неверности Хризеиды в более ранней его поэме. “Кентерберийские рассказы” предвосхищены здесь использованием десятисложного куплета, которым Чосер манипулирует с уверенностью и изяществом, которые являлись потом недосягаемым образцом для поколений английских поэтов; форма эта идеально подходит как для передачи энергичной разговорной речи, так и для воспроизведения прихотливой ритмики внутренних монологов. Соединение многих разнородных легенд под рубрикой единой темы также является доказательством врожденной склонности Чосера к многоголосью и разнообразию, лежащей в основе его творческой манеры. Как и “Кентерберийские рассказы”, содержащие множество повествований от разных лиц, так и “Легенда о Добрых женах” есть сборник, объединяющий самый разнообразный материал – от мифа о Филомеле до более чувственной и сладострастной истории Клеопатры. Все они заключены в единую рамку: старые истории в новом обрамлении, что изобличает сходство с другими артефактами того же периода, такими как Евангелия, привычный текст которых вновь и вновь воспроизводили и иллюстрировали средневековые писцы. К тому же Чосера, видимо, увлекала возможность впутать в сюжет новые детали и, дав новые подробности внутри единой сети, сделать нечто, сходное со старинным англосаксонским плетением. Разнообразны здесь не только сюжеты легенд, но и детали, и частности – возвышенный плач вдруг прерывается непосредственным обращением:

> Ты проиграл, Ясон! Погибель ждет тебя.

А в скрупулезно соблюдаемую последовательность рассказа вклинивается отступление – досадливый отзыв о предшественниках:

> А тот, кто хочет знать о спутниках его,
> Пусть обратится к скучным Аргонавтам[18].

Как и два его великих последователя, Чарльз Диккенс и Вильям Шекспир, Чосер умеет с легкостью, в пределах одной фразы или строфы, переходить от стиля высокой трагедии к самому низменному комизму, не теряя ни нити повествования, ни

полного контроля над ним. Он великий мастер неоднородности, стиля, который Диккенс называл “беконом с прожилками”.

Нигде это качество не проявляется столь явно, как в прологе “Легенды о Добрых женах”. Пролог сохранился в двух вариантах, обычно именуемых “вариантом F” и “вариантом д”. Последний, по-видимому, был написан после смерти королевы Анны, последовавшей летом 1394 года: из текста, должно быть, из уважения к трауру короля, убраны все упоминания имени королевы, “миледи” превращаются в “Альцесту”. Смерть супруги так тяжело отразилась на короле и повергла его в такую скорбь, что он даже приказал разрушить замок Шин, в его сознании связанный с супружеским счастьем так тесно, что отныне он не в силах был лицезреть этот замок. Чосер, по-видимому, тоже скорбел о королеве. Высказывалось предположение, что бросить работу над “Ленедой”, его заставило именно известие о ее смерти. Несомненно, что он присутствовал и на похоронах.

И все же в позднейшем варианте фигурирует образ лилии – fleur de lis – как символическое восхваление нового брака короля с принцессой Изабеллой Французской. Дата создания позднейшего варианта заставляет предположить, что Чосер вновь вернулся к поэме гораздо позже начала работы над “Кентерберийскими рассказами”; факт, что поэма так и осталась неоконченной, указывает на то, что она долгие годы продолжала лежать на его рабочем столе. Текст поэмы содержит обещание писать по легенде в год, таким образом, поэме надлежало оставаться незаконченной, до самой смерти поэта.

Пролог поэмы примечателен и тем, что является непосредственной завязкой сюжета. Поэт выступает в нем как один из протагонистов, обязанный предстать перед судом бога любви. Вновь Чосер изображает себя несколько придурковатым и малодушным увальнем, не умеющим держать ответ за свои слова. Но за него вступается Альцеста, богиня любви:

> Он лишь поэт, а смысл и тема
> Не так важны ему,
> По этой-то причине он пишет то
> “Троила с Хризеидою”,
> А то “Роман о Розе”, он наивен
> И невиновен, ибо он
> Не ведает того, что совершает.
> Ему заказ дают, его он выполняет.

Последние строки указывают на то, что перевод “Романа о Розе”, как и создание “Троила и Хризеиды” были Чосеру

заказаны. Подтверждений такому предположению мы не имеем и можем расценить подобные слова как шутку, но тем не менее они дают ключ к пониманию обстановки, в которой творил Чосер, – тему и сюжет он не всегда выбирал по собственной воле; как и прочие придворные, он и здесь обязан был повиноваться приказу, работая над тем, что было признано значимым не им, а другими. Нелишне отметить и то, что, всячески расписываясь в прологе в собственной несостоятельности, он ухитряется приковать всеобщее внимание и к произведениям своим, и ко всей своей поэтической деятельности без малейшего оттенка саморекламирования. Здесь также проявилось его искусство дипломата. Летом 1387 года проявить это искусство ему пришлось более непосредственным образом. По велению короля он был отправлен в Кале, где перемещался в сопровождении командующего. Цель этой миссии нам неизвестна, но оставаться там продолжительное время Чосер не мог, так как уже в следующем месяце он находился в Дарт-форде, где выступал в качестве судьи на расследовании дела Изабеллы Холл, похищенной ее мужем Джоном Лордингом из Чизилхерста, от ее опекуна Томаса Карсхилла. Однако похищение это явилось актом спасения ее от предыдущего похитителя, которым был ее опекун. Разбирательство это весьма занимало тогда умы, а бесконечно повторяющаяся на слушании фраза “rapuerunt et abduxerunt”[19] могла пробуждать у Чосера память о другом расследовании, касавшемся его лично.

В это время скончалась Филиппа Чосер. Неудивительно, что смерть женщины, о которой нам известно столь мало, можно вывести лишь по отсутствию записей о выдаче ей годовых выплат после 18 июня 1387 года. Вероятно, смерть настигла ее в доме сестры в Линкольншире, но обстоятельства смерти выяснить так и не удалось. О смерти жены Чосер никак и нигде не упоминает, если не считать двух стихотворений, где выражено его намерение не жениться вторично – “не попадать в капкан семейных уз”. По всей видимости, о брачной жизни он был невысокого мнения. Однако своим присутствием в жизни Чосера Филиппа оказала на него влияние достаточно долговременное и прочное. Некоторые из эпизодов “Кентерберийских рассказов” отныне классифицируются как “брачные истории”; в частности, в рассказах Франклина и Купца речь идет о борьбе супругов за главенство в семье, так называемом “maistrie”. Тема эта постоянно тревожила Чосера, и, несмотря на частое, если не постоянное, проживание четы Чосеров врозь, исходной точкой этой тревоги явились отношения с Филиппой.

Имя самого Чосера иногда мелькает в официальных

документах лишь тенью. Так в 1388 году он дважды привлекался к суду за долги – в конце XIV века ситуация для человека средних лет не столь уж редкая, но в данном случае указывающая на то, что Чосер уж никак не принадлежал к людям богатым и равным по достатку тем купцам и придворным, с которыми общался и имел дело. Весной в казначейство был подан иск против него неким галантерейщиком Джоном Черчменом, которому поэт задолжал сумму в 3 фунта 6 шиллингов и 8 пенсов; в ту же осень долг в 7 фунтов 13 шиллингов 4 пенса требовал с него через казначейство Генри Атвуд, содержатель гостиницы. Судя по всему, Чосер останавливался в этой гостинице, когда ездил в Лондон по делам. Как удовлетворили иск, неизвестно, но скорее всего Чосеру удалось достичь полюбовного соглашения с Атвудом. Документы об этом молчат. Говорят же они о запутанности тогдашней судебной системы, ибо в то же самое время, когда Чосера вызывали в суд за долг владельцу гостиницы, он же должен был гарантировать явку в суд некой Матильды Нимег, потерпевшей в деле о похищении, что, судя по доступным нам документальным свидетельствам, было самым распространенным из уголовных преступлений того времени.

Тогда же имело место и еще одно судебное решение. Весной 1388 года Чосер перевел свое право на казенное годовое содержание Джону Скалби: все, что причиталось ему от имени короля, впредь переходило к Скалби, за что Чосер, несомненно, получил от последнего немалую сумму. Причины подобной сделки совершенно недвусмысленны. Заседавший в то время парламент, за свои жестокие нападки на королевских советников прозванный “Беспощадным”, предложил аннулировать годовое содержание тем, кому впоследствии король пожаловал дополнительные суммы. К несчастью, к этой категории относился и Чосер, и угроза больших убытков заставила его поторопиться со сделкой. В который раз он проявил быстроту реакции и деловую сметку, показав, что крепко стоит на ногах в этом мире, но миру его предстояло претерпеть вскоре большие изменения.

Против Ричарда II выступили мятежные лорды и палата общин. Короля всячески унижали и подвергали репрессиям, возможно, даже вплоть до временного отрешения от власти. Многие из главнейших и ближайших его советников были скоропалительно осуждены и казнены. Среди осужденных были и друзья Чосера: так тесно связанным с поэтом многообразными узами Саймону Берли и Николасу Брембру отрубили голову. Чосер, безусловно, мог заподозрить, что пребывание в Гринвиче для него безопаснее и потому предпочтительнее жизни в

Лондоне.

Глава одиннадцатая
“Кентерберийские рассказы”

Чосер теперь обрел некоторый простор и свободу для размышлений о собственной жизни и направлении своего творческого пути. Отказавшись от должности инспектора и годового казенного содержания, он потерял в средствах, но в награду получил в свое распоряжение больше свободы и досуга. Повседневность стала не так угнетать его. Он не ушел на покой, но количество постоянных дел и забот уменьшилось. И потому не случайно, что именно тогда он задумался о рамочном сюжете, с помощью которого мог бы объединить ряд разнородных повествований. Позднее он назовет свой замысел “Кентерберийскими рассказами”, но уже на раннем этапе ему пришла мысль о паломничестве как удобном поводе к рассказыванию историй и перекличке и взаимодействию различных характеров.

От жизни двора он отошел, и “Кентерберийские рассказы” стали первым произведением Чосера, лишенным придворного антуража. Можно назвать их даже его первым современным эпическим полотном. Разумеется, произведение это нереалистично в современном понимании этого слова, но это первая написанная по-английски книга, предметом которой явились превратности обыденной жизни. Единственной возможной соперницей ей в этом смысле является “Видение о Питере Пахаре” Уильяма Ленгленда, но в последнем произведении важное место занимает религиозная составляющая, в то время как в “Кентерберийских рассказах” действуют обычные люди в узнаваемых обстоятельствах.

К тому времени как Чосер обосновался в Гринвиче, им уже были написаны два рассказа – несомненно, как независимые произведения; им надлежало стать “Рассказом Рыцаря” о Паламоне и Арсите и “Рассказом Второй монахини” о жизни святой Цецилии. Однако вполне возможно, что уже на этой ранней стадии Чосер в воображении своем рисовал обширную вступительную поэму, которая позволила бы ему свободно ввести в произведение новый материал. В первых же стихах “Пролога” звучат слова, в которых можно усмотреть и обращение к читателям:

> И мы условились пораньше встать,
> Чтоб в путь отправиться, который описать

Сейчас попробую[20].

Произведение окончательно так и не было завершено и существует лишь в разрозненных списках и рукописных сводах, собранных в разном порядке позднейшими комментаторами. Скорее всего, Чосер не прекращал работы над книгой, считая ее чем-то вроде неотъемлемой части своего поэтического творчества. Книга многообразна и непредсказуема, как сама жизнь.

Однако период, когда все свое время и все силы Чосер мог посвящать этому труду, оказался сравнительно коротким. Весной 1389 года Ричард II сокрушил своих противников. Он объявил, что стал взрослым и чувствует в себе достаточно сил для единоличного правления.

Не может являться простым совпадением, что всего два месяца спустя, 12 июля 1389 года, Чосера назначают на должность смотрителя королевских работ – должность крайне почетную, но трудоемкую (впоследствии ее занимали такие важные сановники, как сэр Кристофер Рен), не оставлявшую Чосеру достаточно времени для литературной работы. Это не было ни наградой верному и испытанному служителю короны, ни синекурой, а скорее важным и неотложным делом, обязанностью, порученной умному и умелому администратору. Предположительно ранее ему уже поручали хозяйство замков в Эльтеме и Шине, что могло считаться важным этапом на пути к новому посту. На этот пост он был назначен по повелению самого короля, который был теперь настроен воинственно и нуждался в служащем, который мог бы способствовать сохранению в буквальном смысле фундамента его королевской власти.

Смотритель королевских работ должен был осуществлять строительные начинания в усадьбах короля и надзирать за ними, а также производить необходимый ремонт зданий, крепостных стен, очистку прудов, поддерживать в надлежащем состоянии все сооружения, службы и части королевского хозяйства. В его обязанности входили наем рабочих и их оплата, ведение переговоров о закупках и доставке строительных материалов, аккуратное ведение всей отчетности. Детализировались и порученные его заботам объекты, как то: “Вестминстерский дворец”, “наша крепость Тауэр в Лондоне”, “наш Беркхемпстедский замок”, “наши поместья в Кеннингтоне, Эльтеме, Кларендоне, Шине, Бифлите, Чилтерн-Ленгли и Фекенхеме”. Чосеру предоставлялось право взять себе четырех заместителей, а также писцов и поставщиков, а собственную

контору разместить в Вестминстерском королевском дворце. Работать он должен был в буквальном смысле с утра до ночи, за что и получать весьма неплохие деньги – два шиллинга в день. Сохранились записи его деловых договоров с мастером – каменщиком Генри Ивелом, работавшим в то время над проектом и сооружением нефа Вестминстерского аббатства. Есть и другие официальные документы касательно плотницких работ, найма королевского садовника, а также многочисленных ремесленников и подмастерьев. Упоминается “доставка камня для Большой часовни в Виндзоре” и “ремонт сараев для взвешивания шерсти близ Тауэра”. Главнейшим предметом забот Чосера, по-видимому, являлся Тауэр, на который тратилось более половины выделенных сумм. Через год после назначения Чосера сделали ответственным и за часовню Святого Георгия в Виндзоре, которая была “en point du ruyne”, почти в развалинах. Он постоянно находился в разъездах, разбирал бесконечные жалобы, распри строителей, боролся с леностью и грубостью английских работников. Он вновь находился в самой точке кипения дел королевства.

Двумя-тремя событиями отмечена эта его служба. 5 марта 1390 года сильный ураган повалил деревья в королевских поместьях и, видимо, нанес урон зданиям и надворным постройкам. Чосеру предстояло заняться починкой и продажей упавших деревьев. Он должен был следить за возведением новых стен, рытьем канав, идущих от Темзы на родном ему участке реки от Вулвича до Гринвича.

Летом того же года Чосер начал работы по сооружению помостов и ограждений для объявленного королем праздника в честь заключения мира с Францией. Праздник должен был проводиться в Смитфилде в начале октября. Готовилось нечто грандиозное. Сперва шествие: рыцари в доспехах на конях, ведомых за золотые поводья дамами, награжденными орденом Подвязки теми самыми кавалерствующими дамами, которых Чосер воспел в своей “Легенде о Добрых женах”, а под конец пир участников и явление короля при полном параде и в короне. В течение дня должны были состояться многочисленные ристалища и поединки, демонстрации искусства верховой езды, а вечером – угощение и всяческие увеселения для народа. В обязанности Чосера входило и украшение помостов, в том числе и эмблемой белого оленя, эмблемой, которую Ричарду II впервые предстояло продемонстрировать на этом празднике. За организацию этого зрелища для народа Чосер был частично ответствен. Однако за месяц до этих событий Чосер оказался втянутым в дела куда менее презентабельные. На дороге между Вестминстером и

Эльтемом, по которой он ехал с большой суммой денег, его ограбили. Произошло это возле “Птичьего дуба” в дептфордском приходе, отобрали лошадь и деньги – 20 фунтов 6 шиллингов и 8 пенсов, – которые он вез для каких-то строительных работ. К счастью, жизнь ему удалось сохранить, но шок его и гнев от подобной наглости усугубились после двух последующих ограблений – в Вестминстере и Хетчеме в графстве Суррей, которым он подвергся в один и тот же день, что указывает на спланированность акции. Было известно, что он возит с собой большие деньги на строительные и прочие нужды, а проследить за его перемещениями в Вестминстере и округе не составляло труда. Поехав вслед за ним, грабители разжились десятью фунтами в Вестминстере и девятью с лишним фунтами в Хетчеме. Второе ограбление произвела организованная шайка конокрадов, должно быть, поэтому Чосера воры не убили.

Было произведено расследование, в результате которого с Чосера была полностью снята ответственность за пропажу денег. Один из грабителей, Ричард Бирлей, выдал своих товарищей за обещание быть отпущенным самому, но он не учел всей хитроумности законников. Один из обвиненных по делу стал отрицать свою причастность к ограблению и предложил решить дело поединком. В результате Бирлей был побежден и повешен, что может служить примером наличия архаических пережитков в том, что зовется “началом эры современного законодательства”. Другой обвиняемый, Томас Тальбот, известный также как “Брод” или “Броуд”, избег виселицы по причине своей грамотности; он вымолил себе должность писца и в качестве исправительных работ был определен в Иорк под начало архидьякона для ведения у него бумажных дел. Вероятно, второй из обвиняемых, Уильям Хантингфилд, тоже был помилован клиром (ввиду своей грамотности) и потому отправился не на эшафот, а в тюрьму Маршалси. Возможность подобного судебного решения является доказательством огромного социального преимущества грамотности в эпоху, когда и Чосер устным декламациям перед придворной публикой начинал предпочитать относительную камерность и уединенность книжного мира.

Не простым совпадением видится нам и то, что и года не пройдет после этих ограблений, как Чосер покинет свой кабинет смотрителя. Он мог предполагать трудоемкость своей должности, но вряд ли предвидел опасности, с ней связанные. Несомненно, что в его решении покинуть пост известную роль сыграла постоянная занятость; его могло раздражать отсутствие времени, необходимого ему для письма, особенно в период, когда он начал свой большой труд – “Кентерберийские рассказы”.

Однако высказывалось и предположение, что покинуть пост его попросили ввиду проявленной им неспособности исполнять обязанности на должном уровне, и предположение это небезосновательно: первая же бухгалтерская проверка его дел показала перерасход двадцати с лишним фунтов. Сменивший его на должности Джон Гедни, был усердным чиновником и, как свидетельствуют документы, выполнял свои обязанности с большим рвением и тщанием, нежели Чосер.

К этому времени относится написанное Чосером небольшое стихотворное послание:

> И если хочешь с легким сердцем ношу скинуть,
> Моли, чтоб благородный друг
> Добыл тебе иное дело,
> Достойное тебя…

Как верный слуга короны, Чосер, однако, награждается синекурой; в том же году он становится помощником лесничего в лесу Норт-Петертона. Трудно представить себе Чосера лесником, но это и не нужно: указанные земли были спорными, шло судебное разбирательство, и так как Чосер был хорошим знакомым обеих сторон, то скорее всего его обязанности тут сводились к роли арбитра в споре и примиряющего сторон. Мастерство его в таких делах было достаточно известно.

И все же по прошествии двух лет бурной деятельности он вступил теперь в период полу-отставки. Вместе с должностью смотрителя королевских работ он утратил большой доход и, видимо, должен был ужаться с личными расходами. Он все еще получал 10 фунтов годового содержания, пожалованного ему Джоном Гонтом, а в начале 1392 года был награжден еще десятью фунтами от имени короля “pro regard et bono servicio”[21]. Возможно, королевскому двору стало известно о его стесненных обстоятельствах. Большие суммы смотрительского жалованья, которые задолжало ему казначейство, тоже после некоторой задержки были ему выплачены. Но и после того он вынужден был прибегать к денежным займам, и по крайней мере об одном таком займе мы можем говорить определенно: летом 1392 года он занял 26 шиллингов 8 пенсов на срок в одну неделю. Столь краткий срок займа, странный в практике профессионального ростовщика Генри Мофилда, в настоящее время объяснен быть не может, но он служит подтверждением того, что по тогдашним меркам Чосер в этот период не может быть причислен к людям богатым. В последующие годы его также не раз привлекали к суду за мелкие долги, однако не стоит думать, что это каким-то образом умаляет

его достоинство: система долгов и займов была прочно укоренена в культуре позднего Средневековья, и долги были там в порядке вещей. Чосер находился тогда еще в периоде поздних зрелых лет, но в отличие от более жизнелюбивых его героев, персонажей “Кентерберийских рассказов”, не помышлял уже ни о женитьбе, ни о любви. В одном из своих лирических стихотворений того времени, названном им “Безжалостная красотка”, поэт с прелестной иронией говорит о своем вновь обретенном целомудрии:

Я вычеркнут из списка должников,
Что начертала нам любви богиня,
За что и сам любви я отомстил
И вычеркнул ее из книг моих.

И поделом! Ведь не желаю я
Томиться долее в узилище столь тесном,
Отныне я в желаниях свободен,
А о любви забуду думать впредь.

В тот же период он направляет стихотворное послание своему приятелю и коллеге по придворной службе Генри Скогану. В послании он жалуется на жизнь в Гринвиче возле устья Темзы:

Там, где потока прекращается бурленье,
Живу я, словно то не жизнь, а смерть,
Уж свыкся с одиночеством забвенья…

Конечно, в жалобах этих звучат отголоски Овидиевых изгнаннических элегий, но нетрудно расслышать в них и ноты искреннего чувства.

В год оставления смотрительской службы Чосер использовал непривычный ему досуг для создания маленького полезного трактата, предназначенного в поучение и для забавы своего десятилетнего сына Льюиса. Произведение это называется “Трактат об астролябии”. Это старейшее из сохранившихся английских учебных пособий, обучающее пользованию научной аппаратурой. Описанная в пособии астролябия представляла собой искусно выполненную модель небесной сферы, по которой можно было проследить движение Луны и планет, определять местоположение небесных тел, по выражению Чосера, “высоту всего, что являет нам небо” и решать практические задачи,

связанные с астрономией и наблюдением за звездным небом. Бедный оксфордский студент из “Кентерберийских рассказов” тоже имел астролябию, которая “ждала его уменья”. По прошествии стольких лет трактат нелегок для восприятия и усвоения.

Чосер и сам извиняется в прологе за “странные чертежи и трудный слог”, но при этом текст явно подгонялся к уровню понимания десятилетнего мальчика эпохи Средневековья, и это уже само по себе есть свидетельство прогресса в тогдашней педагогике.

Чосер начинает трактат милым обращением: “Сынок мой Лоуис, имея немалые доказательства способностей твоих к наукам о числах и пропорциях, по размышлении осмеливаюсь настоятельно просить тебя изучить сей трактат об астролябии”. Следующий за этим текст можно смело причислить к лучшим образцам средневековой научной прозы на английском языке. Он ясно свидетельствует о хорошей осведомленности поэта в последних достижениях того, что он называет “новой наукой”. Чосер обладал практическими знаниями в области как астрологии, так и астрономии, а из его ссылок и упоминаний можно сделать вывод, что он не чужд был и современной ему медицины.

Существует предположение, что через год после “Астролябии” им был написан и еще один научный труд о расположении семи планет, содержащий геометрические расчеты. Идея эта не очень обоснованна и базируется лишь на пометке: “Источник Чосер” возле даты “декабрь 1392”. Правда почерк, которым написана рукопись, также схож с почерком Чосера, что подкрепляет предположение. Но кто бы ни был автор этого труда, Чосер или не Чосер, труд, по крайней мере, свидетельствует о том, что научные штудии в кругу, который мы можем назвать “кругом Чосера”, имелись и были распространены. Современники Чосера, такие как Ральф Строуд и Джон Гауэр, интересовались последними открытиями астрономии и математики, считая эти науки непременной частью общего образования, “Профессионалами”, или “специалистами”, в этих областях они не являлись, но интерес их показывает, как далеко вперед шагнуло образование в городской культуре того времени. В этом смысле они предвосхитили “лондонских гуманистов” конца XV века.

Но самый главный труд Чосера был еще впереди. Поэмы, составившие его “Кентерберийские рассказы”, он начал писать, как мы видим, еще до того, как заступил на должность

смотрителя королевских работ, но только в период своей полуотставки он заимел досуг для обдумывания композиции произведения. За письменный стол он садился чаще в Гринвиче, чем в Лондоне, и, как результат, адресовал он свой труд самой широкой из аудиторий. В тексте “Рассказов” содержатся доказательства того, что предназначалось произведение читателю, а не слушателю. Так он обращается к воображаемому читателю:

> Прошу тебя: прочти, что написал…

а в “Прологе Мельника” дает этому читателю совет:

> Поэтому кого из вас коробит
> Скоромное…
> Переверни страницу…[22]

Его муза теперь – это не муза представления, ей чужды декламация и пафос, она стала степеннее, и речь ее льется спокойнее и размереннее.

Так Чосер, осознав всю характерность созданного им образа батской ткачихи, расширил ее роль в одной из главных поэм, добавив туда еще несколько стихов, а позднее упомянул ее в рассказах Студента и Купца, сделав тем самым ее образ еще более ярким и запоминающимся. Вообще осознание важности того или иного персонажа уже после его создания для художника не редкость, не редкость и отношение к нему как к живому человеку. Поэтому в стихотворном послании другу Чосер пишет:

> Прочти же “Батскую ткачиху”,
> Рассказ про то, о чем беседовали мы.

“Кентерберийские рассказы” отличают полнота и содержательность, и потому персонажи книги становятся живыми людьми, переходя в живую жизнь, точно так же как перешли в его творение некоторые из его современников. Так, трактирщик Гарри Бэйли – это действительно существовавший и хорошо известный лондонцам хозяин постоялого двора в Сайтворке, образу повара приданы черты некоего Роджера из Вэра, имевшего кличку Вэрский Боров. Это действительно был повар, и повар знаменитый. А в “Общем прологе” Чосер проезжается насчет некоего юриста, с которым был в натянутых отношениях:

Он знал законы со времен Вильяма
И обходил – уловкой или прямо[23].

Употребленное здесь поэтом слово “pynche” – явная отсылка к фамилии субъекта, которого Чосер недолюбливал, – Томаса Пинчбека. Похоже, Чосер намеренно стирает грань между искусством и жизнью, рушит или игнорирует существующие между ними преграды. Сама незаконченность книги, непоследовательный характер повествования – суть проявления сходства с жизнью как она есть.

Вот почему в книгу как непосредственное действующее лицо включен и автор. Прием этот не нов, оба – и Ленгленд, и Гауэр использовали в творчестве детали автобиографии. Но никому до Чосера не удавалось сделать образ автора в поэме таким существенным и выразительным. Автор появляется как один из паломников. Юрист, также направляющийся в Кентербери, так отзывается о поэзии Чосера:

Навряд ли сыщется на свете тот рассказ,
Которым мог бы я увлечь собранье,
Чтоб Чосер с ним меня не обогнал,
Не записал бы в книжицу его,
Снабдив хромыми рифмами и уснастив
Приметами поэзии негодной[24].

К поэту обращается и Гарри Бэйли тоном не слишком уважительным:

Уперся взглядом ты куда-то в землю
И по земле глазами рыщешь так,
Как будто зайца выследить желаешь[25].

Чосер рисует себя в образе дородного, рассеянного и даже туповатого увальня – это обычный его комический прием, маска, которая должна обезоружить критиков и отвести от поэта их удары. Но рассказы, написанные как бы от лица поэта, скорее озадачивают. Первый рассказ – “О сэре Топасе” – пародирует слабость некоторых английских романов. Второй – “Рассказ Мелибея” – представляет собой пространный прозаический перевод французской аллегории на тему “терпения” или “сдержанности”. Такой рассказ, сочиненный для других целей, мог быть создан и ранее, однако включенный в книгу, он

добавляет повествованию убедительности, делая его более “жизненным”.

Однако жизнь не стоит на месте. Как ни искушает мысль, что “Кентерберийские рассказы” есть проявление натурализма и наивного зачаточного реализма, созвучного младенческому состоянию языка (свежего, как любимая Чосером маргаритка), поддаваться ей не стоит. Книга занимает определенное место в ряду прочих артефактов того времени и может быть правильно понята и оценена лишь в связи с ними, например, в связи с изобразительным искусством при дворе Ричарда, искусством, в котором тогда по-новому проявился интерес к детализации одновременно с интересом к многофигурным композициям; так на гобеленах конца XIV века мы видим жанровые сцены, в которых действуют толпы народа, а наряду с этим отдельно стоящие и весьма тщательно и детально изображенные фигуры; в рукописных рисунках того времени особенный упор делается на фон – пейзажный или состоящий из предметов архитектуры; и живопись, и скульптура большое внимание начинают уделять портретам, индивидуальным особенностям лица, выражению эмоций, таких как скорбь или воодушевление. В алтарной росписи того времени, как мы можем заключить по сохранившейся росписи Норвичского собора, изысканная узорчатость не заслоняет новой выразительности деталей и индивидуальности лиц. Новизна этих достижений не повлияла на “Кентерберийские рассказы” впрямую, но дает нам основания считать и это произведение причастным общей тенденции времени.

Это же касается и вопросов формы. В последние годы фрагментарность повествования в “Рассказах”, а также его многозначность и противоречивость смыслов, принято объяснять принадлежностью к готическому стилю. Незавершенность и непрерывность действия, отражающие последовательность хода времени или движения в пространстве, составляют существенный элемент готического повествования, выраженного как в камне, так и словесно; сочетание или преобразование и слияние воедино материала умозрительного, духовного и взятого из реальной действительности, выраженное в подчеркнутом и явном смешении стилей, – еще одно свойство готического миросозерцания. У Чосера оно проявляется, когда он мешает непристойные фаблио с религиозной символикой. Можно отыскать для него примеры и менее отвлеченные. Большим влиянием в его время пользовались такие произведения, как античные овидиевские “Метаморфозы” и современный “Декамерон” Боккаччо, оба выстроенные как сборники новелл,

обрамленные единой сюжетной историей. Во времена Чосера существовала также мода на сборники самых разнообразных произведений, объединенных в один том, наподобие семейного альбома: проповеди и рассказы, анекдоты и поучения соседствовали друг с другом на страницах единой рукописи, которую надлежало внимательно читать и перечитывать в часы досуга. “Кентерберийские рассказы” тоже могут рассматриваться как пример следования этой традиции. Но никакая традиция не могла подготовить читателя к тому восторгу, который вызывали у него энергия и блестящее разнообразие поэтических строк Чосера.

Начинается книга с гимна во славу наступающей весны, с приходом которой пробуждаются священные силы природы – земной и небесной. Это противопоставление, этот контраст земного и небесного будет многократно повторен и явлен на протяжении всего пути паломников в Кентербери. “Общий пролог”, возможно, созданный Чосером не в самом начале работы над поэмой, как нельзя лучше вводит нас в русло его замысла, знакомя с особенностями его метода. Начиная с вещей привычных и хорошо знакомых: “В таверне Табард, в Саутворке… ”

Поэт постепенно открывает нам общий план, давая масштабную картину общества позднего Средневековья. Чосер сам представляется читателю, вернее, знакомит с повествователем, одновременно набрасывая контуры сюжета и место действия поэмы. Несколько паломников, которых случай свел на постоялом дворе в Саутворке по пути в Кентербери, чтобы скоротать время, решают развлечься рассказыванием историй; тот, кого признают лучшим рассказчиком, “чей лучше слог и чья приятней речь” получит ужин за счет остальных рассказчиков.

Идея сделать паломничество двигателем сюжета, кажется, целиком принадлежит Чосеру. Ценность приема он, видимо, понял сразу – такой сюжетный ход не только позволяет заключить, как в рамку, самые разнообразные характеры и истории, но и придает повествованию несравненный по мощи символический смысл; ведь и сама жизнь нередко видится нам путешествием, своеобразным паломничеством, о чем красноречиво говорится и в “Рассказе Рыцаря”.

> Наш мир – путь скорби, по которому бредем
> Мы, как паломники…

И дорога в Кентербери, “К мощам блаженным и святым”, возможно, задумывалась как сублимация или как покаяние за использование сюжетов отнюдь не возвышенного свойства.

Отрываясь от своих книг и глядя в окно, Чосер мог наблюдать примеры подобной сублимации совсем близко от собственного дома – ведь Гринвич находился на пути паломников в Кентербери, а группы паломников шли туда день и ночь.

“Общий пролог” знакомит читателя с разнообразием типов паломников, среди которых

и он сам, знакомит и с Хозяином постоялого двора. Все персонажи перечислены и распределены согласно их званиям, профессиям и положению в обществе. Описание похотливой ткачихи из Бата предшествует описанию благочестивого приходского священника, за шкипером следует доктор медицины. Характеры индивидуализированы, как только могли быть индивидуализированы портреты в средневековом искусстве, и в то же время они типичны. Что позволяет считать “Рассказы” произведением драматическим, где на сцену выведены и сопоставлены друг с другом различные типажи, и одновременно тонкой сатирой на общество того времени, сатирой, где каждое из действующих лиц обозначает и некое явление реальной жизни. Как утверждал один из первых биографов и издателей Чосера Томас Шпет, в рассказах Чосер отобразил “состояние Церкви, двора, землевладения и сделал это так хитроумно и с таким искусством, что, даже чувствуя себя обиженным и уязвленным, никто не посмел бы отрицать, что сказанное – правда”. Возможно, такой отзыв преувеличивает значение предварительного плана, предумышленности для Чосера, как и игнорирует его связь с современной ему городской культурой, но Шпет разглядел главное: не менее чем личные качества, Чосера занимают качества типологические. Он создает фигуры, основываясь на непосредственном опыте знакомства с действительностью и на понимании места в ней его персонажей. Так монах “раскормлен, тучен, добрый он охотник” и одновременно воплощает корыстолюбие и порочность современной Чосеру церкви, а бой-баба батская ткачиха не просто бойка и развязна, но и “щедра как жизнь сама”, то есть распутна и распутностью своей символизирует порочность женской природы, идущую еще от грехопадения Евы. Прямой символикой наделены не все персонажи. Так, трудно определить, какие пороки осуждает Чосер, образом мажордома или шкипера, но важно отметить постоянную, на протяжении всей книги, игру значений – типического и индивидуального в каждом из персонажей, перекличку и сшибку их в поведении и поступках каждого из действующих лиц. Произведение создавалось как своего рода драматическое действо – выход на сцену, участие в диспуте, но за всеми дебатами и спорами маячит тень более крупной темы –

отображение поколебленных в своем спокойствии миропорядка и противоречивого, на глазах меняющегося общества. Хоть сам Чосер редко впрямую говорит об этом, но из его “Кентерберийских рассказов” вырастает наглядная картина смутного времени, погрязшего в противоречиях общества, для которого характерны упадок папской власти, постоянные распри между Церковью и государством, борьба за власть между королем и мятежной знатью. Историки обычно видят доказательства противоречивости той эпохи в Столетней войне и Крестьянском восстании. Мы можем добавить к этому откровения кармелита и продавца индульгенций, пристава церковного суда и батской ткачихи.

Первый в череде рассказов, “Рассказ Рыцаря”, был напитан Чосером задолго до того, как им была замыслена книга “Кентерберийских рассказов”, но в книгу рассказ вошел естественно и легко, чудесно согласуясь с благородным характером рыцаря, каким тот обрисован в “Общем прологе”.

Это пересказ рыцарского романа в классическом и почти миологическом антураже “древних легенд”, где речь идет о злоключениях

Паламона и Арситы, домогающихся руки Эмилии. Обычная смесь из рассказа о рыцарском соперничестве и любовной истории видоизменяется Чосером под влиянием Боэция, превращаясь в произведение на более широкую тему судьбы и роли ее в жизни человека. Но даже здесь проявляется присущий Чосеру скептицизм. Рассказ этот истолковывается и как довольно прямое восхваление рыцарской доблести, согласной со статусом чосеровского героя и с нравственными его устоями, и как сатира на кровавые обычаи и корыстолюбие, возобладавшие в современном Чосеру рыцарстве. За обычной авторской отстраненностью проглядывает столь характерная для Чосера двойственность отношений.

Отстраненность его делается еще нагляднее, когда от высокого стиля рыцарского романа он сразу же переходит к непристойной фарсовости “Рассказа Мельника”, объединенного с “Рассказом Рыцаря” прологом, в котором Чосер проявляет себя как мастер комического диалога, когда мельник заявляет:

> “Мне слово дай, и слов я наскребу
> И рыцарев рассказ перешибу.
> Ты не гляди, что я мужлан негодный,
> Я вам припас рассказец благородный я…
> “Идет, рассказывай, будь ты неладен.
> Ты думаешь, что мы с тобой не сладим

“Так слушайте же – мельник заорал, —
Готов брехать, лишь бы монах не врал!”[26]

Мельник “пьян был вдрызг” и, что более важно, он “мужлан”, и рассказ его – это рассказ от лица “мужлана”, рассказанный “мужицкими словами”. Написанный тем же десятисложником, что и “Рассказ Рыцаря”, он выглядит совершенно иначе даже ритмически благодаря своему словарю и стилю – “низкому стилю” рассказа о тайных изменах и любовных шашнях, полного двусмысленностей и скабрезностей:

Тут Алисон окно как распахнет
И высунулась задом наперед.
И, ничего простак не разбирая,
Припал к ней страстно, задницу лобзая[27].

Это образчик столь любимого англичанами сексуального юмора, но нагромождение непристойностей в данном случае – органическая часть рассказа, пародирующего мистерии и комически переиначивающего историю о Всемирном потопе. Трудно представить себе лучший пример соседства и сосуществования буффонады и сакральности. К тому же комизм рождает и пародийность “Рассказа Мельника”, по отношению к куртуазной любви, изображенной в предыдущем “Рассказе Рыцаря”. Чосер устраивает как бы ироническую перекличку сюжетов в пределах одной книги. “Рассказ Мельника”, в свою очередь, пародируется следующим за ним “Рассказом Мажордома”, где речь тоже идет о рогах, наставленных супругу, но история любовных похождений, не чуждых и самому Чосеру, здесь выглядит еще грубее, примитивнее и механистичнее. Это прекрасный пример фаблио, жанра, пришедшего из Франции, но развитого и усложненного Чосером мастерскими описаниями характеров, его даром перевоплощения и подражания. В этом рассказе в речи двух школяров, уроженцев “Севера, каких, не знаю, мест…” звучит и северный акцент и словечки северного диалекта. Строки поэмы изобличают постоянный поиск Чосером новизны и яркости выражения, его неизменную изобретательность и неутомимость в воспроизведении различных речевых стилей. “Слух” и здесь ни разу не изменяет ему.

“Рассказ Мажордома” в каком-то смысле дополняется и завершается “Рассказом Повара”, коротким и малопримечательным повествованием о некоем подмастерье, что “в нашем городе пристанище обрел”. Подобно персонажам с

полотен Хогарта, но перенесенный в городскую среду конца XIV века тип, к неудовольствию своего хозяина, проводит дни за азартными играми и пирушками, а после увольнения связывается с шайкой бродяг и воров. Подмастерье имеет жену:

> Хотя была торговкою она,
> Но в городе о ней ходили слухи
> Как о доносчице и потаскухе…[28]

Здесь рассказ прерывается, так и оставшись незаконченным, но, судя по всему, он призван был знаменовать собой определенный этап в снижении "любовной темы" – от рыцарской куртуазности к грубому сладострастию городской бедноты. "Любовный", или "брачный", цикл поэм Чосера представляет собой последовательность, в которой явственно наблюдаются языковые изменения, с помощью которых Чосер развертывает перед читателем целую панораму стилистических эффектов. Для английской литературы это был эксперимент, и эксперимент новаторский.

Следующий в большинстве изданий за "любовным циклом" "Рассказ Юриста", написанный более строгими и тщательно отработанными "королевскими строфами", исполнен христианского благочестия и развивает традицию рыцарского романа. Это история некой Констанции, которая умела сохранять смирение перед лицом всех несчастий и всегда и во всем следовала воле Божьей. Образ Констанции воплощает идеал святости. Надо помнить, что позднее Средневековье воспевало добродетели и страдания мучениц. Известными авторами религиозных текстов того времени являлись женщины – Марджери Кемпе и Джулиана из Норвича, и тенденция прославлять святых набожных женщин и поклоняться им особенно укрепилась к концу XIV века. Так что образ Констанции – это типический образ того времени.

Однако его удачно оттеняет "Батская ткачиха", чей рассказ в большинстве сборников следует непосредственно за "Рассказом Юриста". Пролог к нему является одним из известнейших произведений английской литературы, в котором на языке схоластики и ученых школяров героиня отстаивает свое убеждение в том, что раз "эль супружества не больно сладок", то оправдан и "бич супружества", каковым она признает саму себя – алчную, склочную, неуемную, без стеснения изменяющую своим мужьям.

Чосер щедро пользуется доводами известной ему антифеминистской литературы, но в пересказе острой на язык

ткачихи они обретают новый иронический смысл, освещая повседневность блеском комизма. Накопив чужую мудрость, он излагает чужие мысли, но, прекрасно овладев искусством вкладывать их в уста персонажей, он разыгрывает перед нами как бы театральное действо. Исследователям удалось выявить ряд литературных источников чосеровского пролога – от апостола Павла до “Романа о Розе”, но несомненным вкладом в литературу Чосера является новизна изложения.

Вслед за “Батской ткачихой” идут два рассказа, связанных и противопоставленных друг другу – “Рассказ Кармелита” и “Рассказ Пристава церковного суда”:

> На то хозяин: “Ты черед свой знай!
> Рассказывает он, ты не мешай,
> Вы ж приставов, отец мой, не щадите
> И на его гримасы не глядите”[29].

Реализм метода Чосера сказывается и в его настойчивом желании то и дело прерывать плавное течение повествования, что сообщает эффект новизны его произведению. Приставы обычно оглашали приговоры – о виновности или о подозрении местного церковного суда в наличии преступления. Профессия эта была всеми ненавидима, ибо приставам были свойственны лживость и корыстолюбие. Кармелита же в свой черед славилась жадностью и половой распущенностью. Сталкивая их в перепалке, Чосер осуждает суетность церковных служителей и общую безнравственность Церкви, что вовсе не делает его, однако, сторонником Уиклиффа или предтечей протестантизма, как о том заявляли некоторые его комментаторы. Важнее, что и тут проявляется его дар сатирика и ирониста.

Следующие два рассказа в исследованиях обычно именуются “фрагмент IV” или же “группа E”. Так пытаются организовать явную чосеровскую хаотичность. “Рассказ Студента” посвящен теме женской верности и женского долготерпения, торжествующим вопреки тем жестоким испытаниям, которым подвергает их грубость супругов и поныне, и Чосера в ней волнуют главным образом страдания женщины, в чем проявляется свойство Чосера, которое вернее всего можно назвать добросердечием, как утверждает пословица, к которой он не раз прибегает и сам: “В добром сердце и жалости место найдется”. “Рассказ Купца” дает другой поворот этой теме, повествуя о молодой женщине, попавшей в ловушку неравного брака с пожилым рыцарем. Очутившись впервые с ним в постели, юная супруга наблюдает неприглядное зрелище:

Так пропыхтев до самого рассвета,
Хлебнул кларета он и, на кровать
Усевшись, стал супругу целовать
И громко петь с гримасою влюбленной.
Казалось, жеребец разгоряченный
Сидел в нем рядом с глупою сорокой,
Болтающей без отдыха и срока.
Все громче пел он, хрипло голося,
А шея ходуном ходила вся[30].

В этой поэме, однако, жена отомстила мужу самым непосредственным и непристойным образом. Чосер чувствует себя обязанным извиниться за грубости в описании:

Простите, дамы, если я нарушу
Приличья, – безыскусствен мой язык.
Рубашку поднял Дамиан и вмиг
Проник – куда вам всем небось известно…[31]

Точно так же история, рассказанная сквайром, противостоит супернатурализму “Рассказа Франклина”, хотя оба повествования и тяготеют к гиперболизму, так отвечающему вкусам Средневековья.

Было бы излишне детально описывать каждый из рассказов, но особенности некоторых из них заслуживают внимания. Один из рассказов, излагаемый как бы самим Чосером, является первой пародией, появившейся в английской литературе. “Рассказ о сэре Топасе” имитирует ранние английские романы, написанные так называемым “хвостатым стихом”, где последний стих строфы не рифмуется. Чосер прекрасно передает туманную велеречивость этих старинных произведений, подражая их стилю:

В приходе Покринге был он
В заморской Фландрии рожден,
Как это мне известно,
Его отцу был подчинен
Весь край кругом, – он был силен
По милости небесной…[32]

Если справедливо мнение, что удачно пародировать можно только то, что любишь или чем восхищаешься, то нетрудно понять, почему для пародии Чосер избрал именно эту

литературную форму Собранные в бесчисленных рукописных сводах, эти романы составляли основной круг чтения молодого Чосера, они воспитали его, привив ему вкус к английской поэзии, и, как бы возвращаясь теперь к истокам, поэт оценивает пройденный путь и собственные достижения на поприще англоговорящей поэзии. Нигде это не выражено так ясно, как в “Рассказе Монастырского капеллана”, “животном фаблио”, заимствованном из французских источников, но пересказанном с таким юмором и блеском разнообразных деталей, что произведение это может считаться образцом стилевого изящества. Рассказ о петухе Шантеклере и курочке Пертелот выдержан в псевдогероическом стиле, где ложный пафос, возвышенность и ученость смешиваются с фарсом, а сумятица образов и деталей не нарушает плавности повествования, делая поэму одним из самых художественных творений Чосера.

Оканчиваются “Кентерберийские рассказы” коротким прозаическим, похожим на проповедь трактатом о покаянии – его природе и пользе, и так называемым “отречением” Чосера “от всех моих переводов и писаний, исполненных земной суетности”, включая “Троила и Хризеиду” и даже “Кентерберийские рассказы”, “где властвует грех”, “отречение” это нередко ставит в тупик исследователей. Но и трактат, и “Отречение” кажутся излишними, только если рассматривать “Рассказы” с точки зрения чисто эстетической, но такой взгляд на литературу присущ лишь современному миросозерцанию. Во времена Чосера “литературы как таковой” не существовало, в ней видели скорее зеркало действительности и модель поведения человека в окружающем мире. В таком контексте “Рассказ Священника” вполне логично заключает собой произведение о людских слабостях и недостатках. К тому же “Рассказ Священника” представляет собой компиляцию переводов двух латинских источников – трактатов о покаянии монахов-доминиканцев XIII века, что, в свою очередь, доказывает неправильность трактовки “Рассказов” как произведения сугубо личного и выражающего собственную точку зрения автора. “Отчуждение” от своих творений было обычным приемом, гарантирующим серьезность намерений автора. Выражением личных стремлений рассказчика оно может считаться не более, чем может считаться тождественным личности поэта сам рассказчик. Вот почему “Кентерберийские рассказы” – произведение во многих отношениях безличное. Несмотря на ироничность, а порою и непристойность повествования, чередование в нем эпизодов бытовой драмы с эпизодами высокой комедии, автор постоянно блюдет дистанцию и свойственную великому искусству

отстраненность. Это качество поэзии Чосера хорошо уловил Уильям Блейк, давший ей такую выразительную характеристику: “Характеры чосеровских пилигримов существуют во всех временах и у всех народов, определяя собой эти времена и народы; эпохи следуют одна за другой, одна кончается, другая начинается, смертным они видятся различными, но для бессмертных время представляется единым, ибо человек все тот же и характеры множатся, лишь повторяясь вновь и вновь, и у людей это так же, как у растений, животных, минералов; мир все тот же, и ничего нового в нем не возникает. Случайное может быть различным, но сущности не меняются и не подвержены тлению”.

Чосер же является “великим поэтическим наблюдателем мира людей, каждая эпоха рождает одного такого наблюдателя для того, чтоб выразить себя и увековечить свои деяния”.

Однако “случайное” принадлежит времени, эпохе, через которую проходит человечество на своем паломническом пути. Вот почему один из планов “Кентерберийских рассказов” – это экспериментирование с многообразием; книга прославляет это многообразие, славит изменения и перемены. В меняющемся несовершенном мире огромное значение приобретают вариативность и внезапность перемен. Многие рассказы передают это ощущение разнородности, опыт столкновения с ней и переживания ее. Как в ряде случаев формулирует это Чосер, “народ различный говорит различно”, “различны люди и различны речи” и “когда-нибудь другой расскажет по-иному”. Этого философского принципа, если позволительно прибегнуть к анахронизму, Чосер будет придерживаться на протяжении всего повествования: принципа различия в выражении. Различия рождаются и от смешения французских или латинских заимствований с местной англосаксонской речью. Мы уже отмечали контрасты повествования: как встречаются на одном паломническом пути аббатиса и повар, “мужланы” и “джентльмены”, так же сталкиваются и контрастируют речь возвышенная с непристойностью фаблио. Иногда в одном рассказе соединяются элементы несовместимые. Чосер создает новый формат, придавая новую свежесть и жизненность старым легендам и историям, рассказанным по-новому, в новых обстоятельствах и самыми различными людьми. “Реализм” Чосера, за который он удостаивается похвал со стороны писателей и критиков, имеет истоком именно это многообразие характеров и судеб, воспроизводящее и отражающее многообразие самой жизни.

В этом прелесть Чосера и его заслуга.

Глава двенадцатая
Последние годы

Сохранилось более восьмидесяти рукописей “Кентерберийских рассказов”, собранных уже после смерти Чосера, что свидетельствует о мгновенной популярности, которую обрело это крупное произведение. В последние годы жизни Чосер мог распространять отдельные рассказы из книги или сборники их среди своих друзей и современников; один или два таких сборника могли найти свой путь и ко двору. Связь с королевским двором он утратил не полностью. Документальные записи о его выступлениях в качестве “свидетеля” подтверждает его постоянное пребывание тогда в Кенте – он выступал, надо думать за деньги, в Вулвиче и в Комбе по делам об изъятии и передаче собственности. Вдобавок местный землевладелец Грегори Баллард назначил его своим поверенным. Но контакты при дворе Чосер тем не менее сохранил. В начале 1392 года Ричард II наградил его десятью фунтами за хорошую службу, на основании чего можно выдвинуть, правда, недоказанное, предположение, что Чосер в какой-то форме продолжил выполнять поручения короля. Выяснить, в чем они состояли, так и не удалось, но не исключено, что он мог их выполнять, оставаясь в Кенте.

28 февраля 1394 года Ричард II выделил Чосеру пенсию размером в двадцать фунтов (за хорошую службу) “pro bono servicio”; по существу, это явилось возобновлением годового содержания, которое шестью годами ранее Чосер продал Джону Скалби. Существует несколько записей о чосеровском прошении об авансе в счет этой пенсии, из чего следует вывод, что о большом благосостоянии Чосера речи идти не может. В тот же период суд принудил его к выплате четырнадцати фунтов долга. В 1397 году Чосеру как ответственному и совестливому чиновнику король пожаловал бочку или же большой бочонок вина ежегодно. Как это водится у бюрократов, королевский подарок не был передан Чосеру в срок, и на следующий год поэт сам обратился в казначейство с прошением о доставке ему вина.

Однако ежегодное вознаграждение от казны вовсе не обязательно означало полную отставку Чосера. Условия, на которых он получал пенсию, предусматривали продолжение службы in futurum, в будущем. В 1398 году Чосеру были на целых два года обеспечены “безопасность и содействие” в выполнении трудного и неотложного “поручения короля”. В чем состояло поручение – неизвестно, но, по-видимому, путешествия за рубеж

оно не предусматривало. Возможно, это был лишь способ избавить Чосера от судебных преследований в связи с его долгами. Во всяком случае, запись о “поручении” свидетельствует о том, что власти о Чосере не забыли – защищали ли они его или же считали возможным использовать для своих заданий. Явным доказательством того, что Чосер был ценим властью, служит награждение его алым плащом на меху Генрихом Болингброком еще до того, как даритель взошел на английский трон в качестве Генриха IV. Иными словами, Чосер все еще был “в силе” и в числе “лучших”.

Так или иначе, дело шло к тому, чтобы ему покинуть Кент и переехать обратно в Лондон. Возможно, ему наскучили деревенский покой и тишина и захотелось вновь шума и городской сутолоки. Может быть, под конец жизни возникла потребность вернуться к родным местам, к истокам. А может быть, его просто обуяла охота к переменам. Поэты и художники часто утверждают, что перемена места стимулирует творческий процесс. Чосер вернулся в Лондон в 1398 году, за два года до кончины, и на следующий же год взял в аренду “строение” в саду, примыкавшем к приделу Богоматери в Вестминстере, получив в свое распоряжение небольшое, но удобное жилище с садом неподалеку от знаменитой древней церкви. Дом он, видимо, счел подходящим для дальнейшей работы над “Кентерберийскими рассказами”. Срок аренды может показаться несоответствующим преклонным годам арендатора, но, возможно, это лишь юридическая формальность. Данная аренда являлась знаком “почета и уважения”, так как дом этот ранее занимали слуги короля. Территория считалась заповедной, как часть аббатства, что не обязательно гарантировало тишину и уединенность. Из окошка поэт мог любоваться видом южного трансепта аббатства, но в непосредственной близости от него на заповедной территории находилась и таверна “Белая роза”.

Осенью 1399 года Ричарда II заставили отказаться от престола превосходящие силы Генриха Болингброка, вернувшегося после своего французского изгнания с твердым намерением занять место Ричарда на королевском троне. Однако, став Генрихом IV, новый король подтвердил пенсию Чосера и в знак королевской милости добавил к ней еще сорок марок (равных примерно двадцати семи фунтам). Возможно, это был акт некоего пренебрежения к поэту, выражавший безразличное отношение придворной бюрократии к фактам смены покровителя. Но это же указывает на некоторую уклончивость позиции Чосера, позволявшую считать его “верным нашим рыцарем и слугой”

обоим суверенам: долгое время благоволившему поэту Ричарду II и низвергшему последнего Генриху IV

На деле выплата пенсии запоздала, и недостаток средств заставил Чосера обратиться к новому королю со слезным посланием в стихах, названным им “Жалоба Чосера своей суме”:

> К тебе, моя отрада, хозяйка и супружница моя,
> Я обращаю жалобные строки…
> Как горько видеть мне тебя пустой и исхудалой,
> Когда и сам я гол, как нищий брат монах…

Итак, Чосер вернулся в родные места, а вернее, в Вестминстер, расположенный чуть дальше по Темзе. Теоретически он был достаточно вознагражден за свою службу. Две последние денежные выплаты он получал не самолично, что позволяет сделать вывод о плохом состоянии его здоровья уже тогда. По отзыву жившего в XVI веке историка и собирателя древностей Леланда, Чосер тогда “постарел и поседел”, ему было около шестидесяти, возраст не такой уж преклонный для нашего времени, но в эпоху, когда людей косили болезни и подстерегала неожиданная смерть, считавшийся солидным. Леланд пишет также и о том, что сам Чосер и самую старость считал болезнью, но, возможно, хроникер излагает здесь просто общепринятую тогда банальность.

Существуют апокрифические рассказы о последних годах Чосера и о том, как он перед кончиной сокрушался о непристойности некоторых своих творений: “Горе мне, о горе мне!” – но, учитывая написанное им “отречение”, такое маловероятно. Полагают, что последним, что он завершил, были непристойные рассказы “группы А”: Мельника, Мажордома и Повара. Если это так, то это достойная точка в творчестве поэта сугубо городского по своему духу.

Причина и обстоятельства смерти Чосера неизвестны. Однако мы знаем, что умер он в год чумы. Общепринятая дата – 25 октября 1400 года – следует из надписи на надгробии, сооруженном примерно 150 годами позже. Покоится он в южном трансепте Вестминстерского аббатства, в месте, теперь известном как “Уголок поэтов”. Первоначально это был довольно темный угол, возле входа в придел Святого Бенедикта, где хоронили монастырское начальство. По-видимому, пышной церемонии похорон Чосер не удостоился, и хоронили его так, как подобало придворному невысокого ранга. Благоразумие и сдержанность Чосер сохранял до самого конца.

notes

Примечания

1

Перевод И. Кашкина.

2

Английскому сквайру Жоффруа де Шоссеру и трем его спутникам (*фр.)*.

З

Камер-фрейлине драгоценной супруги нашей *(старофр.)*.

4

Любви красивой, возвышенной *(фр.)*.

5

Строфа-семистрочник на основе ямбического пентаметра.

Перевод И. Кашкина.

7

Перевод И. Кашкина.

8

Перевод О. Румера.

9

Умыкнул *(лат.)*.

10

Увез *(лат.)*.

11

Изнасиловал *(лат.)*.

12

Лишил девственности *(лат.)*.

13

Принудил вопреки желанию *(лат.)*.

14

Перевод О. Румера.

15

Перевод И. Кашкина.

16

Първостепенен *(лат.)*.

17

“Исповедь влюбленного” *(лат.)*.

18

Видимо, имеются в виду эпосы Аполлония Родосского и Валерия Флакка.

19

Насильственно увезена *(лат.)*.

20

Перевод И. Кашкина.

21

За беспорочную и добросовестную службу *(лат.)*.

22

Перевод И. Кашкина.

23

Перевод И. Кашкина.

24

Перевод И. Кашкина.

25

Перевод И. Кашкина.

26

Перевод И. Кашкина.

27

Перевод И. Кашкина.

28

Перевод И. Кашкина.

29

Перевод И. Кашкина.

30

Перевод О. Румера.

31

Перевод О. Румера.

32

Перевод О. Румера.